

ВОЛЯ РОССИИ

**ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ
И КУЛЬТУРЫ**

XI

ПРАГА
1926

5-ый год издания.

5-ый год издания.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на ежемесячный журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и
В. В. Сухомлина.

В каждом номере «ВОЛИ РОССИИ»: Рассказы, повести, стихотворения. Переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы. Статьи по вопросам русской и иностранной политики. Систематические обзоры жизни Советской России. Проблемы современной культуры. Жизнь славянства. Статьи иностранных авторов по вопросам международной политики. Литературные отклики. Обзоры новых книг и журналов. Библиография.

За 1926 год в журнале были помещены произведения следующих русских авторов: Аноним (Россия), Б. Аратов, В. Архангельский, К. Бальмонт (Париж), Н. Безпалов, П. Булатов, Д. Вяткин (Россия), С. Верещак, Н. Воронович (Варшава), В. Гуревич, Е. Зноско-Боровский (Париж), проф. А. Герш (Женева), Д. Ивицкая (Россия), З. Кочеткова (Брюссель), А. Коршунов (София), П. Климушкин, К. Кочаровский, И. Каллиников, Е. Лазарев, Л. Леонов (Россия), Вл. Лебедев, проф. И. И. Лапшин, Б. де Линель (Россия), Д. Лутохин, Ф. Мансветов, Н. Мельникова-Папоушек, П. Милославский, Е. Недзельский, И. Нечитайлов (Загреб), С. Новиков (Белград), Б. Нерадов (Россия), П. Орлушин, С. Постников, А. Пешехонов, А. Ремизов (Париж), Ф. Репейников, С. Раппопорт (Лондон), Н. Русанов (Ницца), Л. Россель, Н. Рубакин (Лозанна), М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин, В. Тукалевский, Г. Фальчиков, Г. Шрейдер, М. Цветаева, А. Цаликов, В. Чернов, Ю. Данилов (Париж), проф. Н. Ульянов (Лозанна).

Кроме того, были помещены следующие специально для «Воли России» написанные статьи иностранных авторов: Рудольф Брейтшайд (Германия), Ван-Чу-Фу (Китай), Шарль Вильдрак (Франция), Тадеуш Голувко (Польша), Гануш Елинек (Чехословакия), Бласко Ибаньес (Испания), Рихард Линстром (Швеция), Альсинг Андерсен (Дания), Рамзей Макдональд (Англия), Александр Олар (Франция), Сант Яго (Испания), Коста Тодоров (Болгария), Альберт Тома (Швейцария), Сентаржицкий (Финляндия), Генрих Штребель (Германия), Джiovанни Зиборди (Италия), С. Хондокорян (Армения), С. Янинос (Греция).

Произведения следующих иностранных авторов были помещены в переводе с их согласия или согласия издателей: Г. Апполинар (Франция), В. Вавчура (Чехословакия), Э. Бенеш (Чехословакия), Ю. Волькер (Чехословакия), О. Бржезина (Чехословакия), Т. Масарик (Чехословакия), М. Пруст (Франция), Я. Папоушек (Чехословакия), М. Эбергард (Франция).

Цена настоящего номера: в Чехословакии — 15 кр., Югославии — 25 дин., Болгарии — 30 лева, Франции, Бельгии, Турции — 15 фр., Англии — 2 шилл., Америке — 75 ц., Германии — 2 мк., Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Австрии — 15 ч. кр.

Адрес редакции и конторы:

„Volja Rossii“, Uhelny trh., Praha I. Tchecoslovaquie.

Окончание статьи А. В. Пешехонова « Опыт натурализации » и ответ редакции будут помещены в следующей (декабрьской) книжке « Воли России ».

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛИНА

5-ый ГОД ИЗДАНИЯ

XI

ПРАГА

ПРАГА, UHĚLNÝ TRH CÍŠ 1

СОДЕРЖАНИЕ

О. Колбасина: Яблоня	3
М. Цветаева: Лестница (Поэма)	29
Марк Слоним: Американские впечатления	45
Вл. Лебедев: Тайна посмертного рассказа	79
Б. Невидимцев: Московская мозаика (Боязнь «потрясений». «Голубая кровь». «Партейные». Перерождение)	95
Эдуард Бенеш: Проблемы славянской политики	107
Е. Сталинский: Большевистское отступление (Итоги «дискуссии» и Капитуляции)	131
В. Сухомлин: Политические заметки (Задачи социалистического движения в России. Связь политической и социальной проблемы. Политическая борьба при самодержавии и теперь. Роль интеллигенции)	151
М. Хиллквит: Внешняя политика Соединенных Штатов	165
Среди книг и журналов:	
Евг. Недзельский: Памяти Есенина (Всероссийский Союз Поэтов памяти Есенина. Москва, 1926 г., стр. 269)	174
Владимир Диксон: О любви к России	181
Б. Ар.: Переводная литература в России	184
Отзывы о книгах:	
Б. Сосинский: Новый дом (Литературный журнал под редакцией Н. Берберовой, Д. Кнута, Ю. Терапиано и В. Фохта. № 1. Париж, 1926	187

Я Б Л О Н Я.

I.

Ветер — ветер — тот, что без остатка сгоняет последний снег. — тот, что с юга на запад сбивает стадами тучи, — ветер — сгон разбежлся во всю, растянулся, распластался и пошел на ходу подхватывать все, что попадается: бурьян, облака или звезды — ему все равно;

— полыню, чертополохом и молочаем бежит встревоженная степь;

— звездами, облаками бегут небеса.

Как угнаться за ними коню?

Ветру что — бездорожье, овраг, буерак — рыхляком, новиной — в один перегон.

Легко, без натуги, обгоняет поветрь коня и вдруг — впереймы — лобовой, зализал лицо жесткой гривой, обшупал всего, под полой обшарил, в глаза, в уши, в рот залез, — зашло сердце.

Ветру что, а коню трудно: шутка ли с ветром спор — на выбег — полосой и степью, по колючей стерне, полыню, буераками, увалами и ставка — голова.

С челюстью крепкой и твердой, как целина, с крутым подбородком и волчьим рядом острых зубов — человечья голова.

Ветер принял вызов и человек принял — ходу — ходу.

Ринулась навстречу испуганная степь — в растяжку конь.

Ветер швырял звезды наотмашь, пока все ни вышли и не побледнело от усталости небо.

Без передышки, завертью пенил облака, и, когда отдохнув показались звезды, опять одну за другой расшвырял. То облака, то звезды, сгонял ветер, степной сгон.

И ночь, и день, и вторая ночь.

И нет угомону: горыч задует надолго.

Стоянки на ходу. У любой избы запрокинет голову, ходуном адамово яблоко — булькает вода в глотке, оботрет рукавом губы, оботрет лоб, хлеб в подсумок.

Знают все эту челюсть и свинец в глазах знаком каждому. И рыжий конь игреней масти. Кто и не видел, — слышан. Ветер сгоняет не одни тучи и звезды, — ветер разносит молву: вестовой, вестничает степью.

В хутор, осевший в развалку в синей степи, и под стрехи сбитых в кучу соломенных крыш—домахнет весть. Золото - рыжему жеребцу настезь ворота; под хозяйкой пляшут половицы, когда наспех заводит тесто: горячие пышки или сочни на дорогу — знак почета высокому гостю,

— но с ветром тягаться не шутка.

— ходу.

Опять грудью в свист и хлест, напролом в дребезг острого стекла лбом. Потерялась деревня и хутора позади. Во все стороны расшвыряли копыта цок и гуд нетронутой целины.

— Держись, Ермолаев, — эй, держись, сволочной, про заклад голова — твоя голова.

С мыслями быстрыми — и ветру их не догнать — с хитрой выдумкой, с резким словом — приказом.

Меткий глаз, рука без дрожи, винтовка без промаху — что в них, если будет проиграна ставка.

Ноги впаялись в бока, в ноздри конский пот — храп и урк.

В стрежень ветровой быстрины —
ходу — ходу.

II.

Когда стремя билось о голову — она завела глаза, задернула мутью зрачки: не видеть бы им, как шарахнулась в обратную сторону степь, как назад побежали молочай и полынь.

Уши не слышат, как рыком и хохотом улюлюкала победа и как чванился призом ветер: трепал в клочья растерзанный рукав, хлопал разорваннойолой.

Как предсмертно хрипел рыжий жеребец, его жеребец чистых кровей — не слышали.

Как прятались по избам, таились по коноплям, заслышав лошадиную рысь — не видели глаза.

И как воротили в сторону бородатые лица и тупились непроницаемо при встречах — не видели.

Ничего не видели белые заведенные глаза. В раскрытый рот — полынная пыль. Сладко - терпкая слюна красными дорогами по лицу — через щеки и лоб — кропила степь.

III.

Не ждали и не знали. Как всегда деловито ковал судьбу Ундервуд.

Ордер за ордером заготовлены бланки: на свободу, на высшую меру — ордер № такой - то.

Малиновый лак ноготков выстукивал одинаково нежно буквы жизни и буквы смерти.

Стукоток жизни сменял стукоток смерти равно благозвучно.

От толстой книги с входящими — неизсякаемо входили в нее за номерами такими - то люди: живой плотью и кровью питалась и добрела книга — малиновый лак уводил глаза.

Для исходящих — другая, не до отвалу накормленная, с отрывными листами: для исходящих в смерть или в жизнь отрывался лист, оставался один корешок.

Напрасно и живой росписью страниц и нетронутой белизной — еще скольких можно вписать — удерживала книга: золото кудерьков раскинуло сети, запуталось в пуговицах кожаной куртки, закололо куртку с головой.

И не над книгой — над Ундервудом желтый кожаный блеск куртки, вместо стукотка Ундервуда — скрип английских гетр.

Ордер № такой - то остался недописанным. Приостановлен приговор к смерти или может быть приговор к жизни — чья то судьба повисла над провалом неизвестности. Сияние волос и сияние английской кожи слилось в одно, солнце слепило глаза, обводило золотой паутиной тишины.

Ни Ундервуда, ни с входящими - исходящими — лено и тихо в комнате.

В паутину молчания — гул голосов и прикладов. От гимнастерок посерел день. От черных кож потускнело солнце.

Над восстановленной в правах книгой официально блестит новая желтая куртка и вопросительно смотрят твердые губы.

Гудят корридоры, ахают двери. Лица, глаза из каждой лисьей и волчьей норы — в упор.

Новость всех облетела — не ждали, не надеялись. В глазах застыл свинец, голова впрохмель: еще ветер обгонял свистом и хлестом, закрутью трепал — ветер, ветер, горыч, задует надолго.

В уши свист и не слышат: по всем переходам и закоулкам — самого привезли.

— Ерго - ла - ева.

Тише, тише — в шепота это имя, при закрытых дверях — до поры до времени.

Один на один в лисьей норе, чтобы уши ничьи. Приклады, с пудовик подошвы в корридор: им у дверей стоять.

Здесь только двое. Опять молчит Ундервуд, но теперь по иному, зловеще молчит и хищен оскал белых страниц.

Только двое: в желтой куртке один, и со свистом в ушах на седле качался другой — догонял ветер.

Глаз в глаз: лисий из под мохнатых век и другой — расплющенной пулей тяжело влип.

Гонится ветер, эй, держись, сволочной, только бы вправо загнуть у буерака, у сломанной вербы, а там ищи-свищи, — эх, только бы. —

Если стиснуты зубы, лисий знает — средство есть: захлебнется зубами, выплюнет с кровью слова. Но с размаху ладонь о стальную шапку звонка, стальной гриб звяком осел и распахнул дверь — полукругом встали винтовки.

Не моргая, остановились неподвижно глаза, чтобы в полном секрете: нигде, никому, имя забыть — № такой-то.

Шаги корридорами, лестницей вверх.

Щелк замка, — повалился на нары — качает в седле.

IV.

Черная и белая пряжа попеременно: то одна, то другая. Из белой кудели выпрядались белые дни, и с ними сучились мысли, тонкие скручивались в нити, вертелось, разбухало веретено.

Когда приходил срок, серела кудель, и уже черная шерсть затыкала окно, и вместе с черными нитями ночи сучились мысли, путались в темных кудлах.

Кроме черного и белого ничего. Лежал на койке, дымил махром, веретенились нити дыма и мыслей, — кто-то тонко сучил.

Когда зажигался свет под потолком, и черная шерсть застилала окно, оживали корридоры.

Шарк подошв, щелк затворов, звяк ключей — грянувший гром жданный и всегда неожиданный. Громче грома грохот ключей. Что бывает громче? Разве только имя, брошенное в жуть наступившего молчания, не ртом отделенного — топором в голову, имя свое, неузнанное, костью

и кровью услышанное имя. Но еще громче грохот вдруг разбухшего сердца, когда в минуту оно вырастает с комнату ростом и бьется о стены при каждом звяке стальной связки.

Когда за стеной гремели ключи, гремело имя и грохало сердце; он не слышал. Когда начиналась возня и пыхтенье и кто-то, цепляясь, скреб стены, — он не слышал.

С дымом махорки, с пряжей дней и ночей сучились бездумные мысли.

У.

Лисий глаз наблюдает, лисий нюх вынюхивает, лисье сердце млеет восторгом: только подумает, ликованием зайдется сердце.

Самого изловили, самого держит в руках, — о ком из Москвы шли радиотелеграммы, о ком в желтых пакетах с печатями, — о ком и в заграничных писали социал-предатели.

Неуловимый: легче ветер поймать в степи — легендарный: о нем и сказки и песни и всякие выдумки — о нем только и разговору. И даже над Ундервудом малиновые ноготки нервно прыгают и наливается краской нежная шея под желтой гривкой, когда сорока на хвосте приносит и сюда о нем сказки. С мокрой тряпкой под столом, на котором стоит всемогущий Ундервуд, на котором тайны хранит раскормленная книга, — о чем стрекочут бабы, когда трут казенный пол — конечно, о нем, все о нем.

Захлебываются, торопятся на выбег, не пугают и окна с решетками и корридоры: пойдешь — назад не вернешься.

Вести разворотили жизнь от верху до низу, как под обухом от клина, раздалась жизнь. На двое: дома своя, а там что ни день новость: из под носа ушел, сквозь пальцы просеялся, — вот тут при всех взяли, а уж он стариком обернулся: идет старый, на комель опирается — кому узнать. Мало того, к самому красному командиру пробрался, все что нужно и вызнал и высмотрел — вот он ка-

кой. Он везде и нигде, он и сто человек расшвыряет: не стоурится, — ему все ни по чем, в глаза обведет и туману напустит и атяпой прикинется — ему что? Пойди — ка, возьми такого.

А вот взял — здесь, в его власти. Захочет и останется с ним меж четырех стен. В тоску пойманного зверя, как в сон — с головой.

О, эти восторги, когда в чужую жизнь, как в зачарованный сад с лучами прожектора.

Сад чужой души, превращенный в сад пыток.

Когда приводили и оставляли наедине, как в скачке, заходило сердце.

И хоть стиснута челюсть — такая шутя перекусит ствол винтовки — он ждал слов.

И в таинственный сад пытался войти, но так темна была темнота, что и глаза не освещали.

Молчал или говорил односложно, нехотя разжимая челюсть, — с каждым днем она заростала жесткой щетиной — такая шутя и рельсу срежет. —

Являлось искушение: ручкой ногана — сталь на сталь, чтобы с кровью, с зубами выплюнул нужное слово. Но понимал: ручкой ногана не распахнуть дверей в этот сад. Телесная мука — тлен: к другому влеклась душа —
— его душа томилась по вечности.

Телесная мука — короткий миг, и память о ней умирает.

И только в душевной тоске находил подобие вечности, в душевной тоске обреченной души — в муке, которая и со смертью не кончится. И хоть кончалось и это, — он знал: все кончается — но пока содрогалась душа и по его воле воскресала и вновь, не умирая, умирала, — он чувствовал себя всемогущим.

И память о таких минутах не умирала.

Слушая его деловые доклады в коллегиях, кто бы мог угадать из каких тайников выудил он точные, беспощадные факты, неопровержимые, как ноган. Факты — кратчайший путь к высшей мере — откуда он добыл — никто не знал.

Знал только он, из какой глубины, как ловец жемчужков, извлекал.

И о минутах восторга знал только он.

У него был свой подход к работе и он не любил, чтобы другие ему мешали.

Пусть медленнее достигалась цель, но и своим путем—

Он не брал в руки ногана, немотствовал на столе ноган.

Снова пел замок в строгой одиночке.

VI .

Так и тянулось. Выпрядали душу дни, выпрядали ночи. В черных и белых кудлях путались мысли: белое — черное, никаких перемен.

И вдруг в белую кудель дня грузно и весомо упал веник — горький полынный веник.

Утром, с окриком отделенного

— так тебя рас-так, чисто мести: нынче ревизия.

Веник полынный горький и свежий распахнул окно. Но так как надо было чисто мести, он сдвинул нары, сдвинул парашу и стол, а потом разошелся: двинул стены и тогда ливнем в душу — небо, полынь, вянущее сено, предрассветная перекличка стреноженных лошадей. Все сразу — зелень и синь и ветер с реки — предтеча речной ни с чем несравнимой прохлады.

Когда вернулся отделенный, он стоял посередине камеры и держал веник в руках.

Он ничего не ответил на крепкие, как самая сильная затяжка, слова, молчал, пока не плюнул отделенный.

Но веник свое дело сделал: на чисто подмел, чище некуда. Голубые полынные кисти расчистили место ревизии; как на смотр явилось на чистое место и вытянулось развернутым строем — прошлое.

И вместе с ним явилась воля, та, что в глубоких складках залегла вдоль щек, та, что круто заломила подбородок и тяжелым свинцом налила глаза.

Проснулась воля к жизни. Любовь к жизни проснулась. Любовь? Но разве любовь, когда волчица, прикрывая волченка, подставляет острым собачьим зубам, в kloчья истерзанный, бок?

Разве любовь, когда не чуя опасности и хрустнувшей ветки под ногой охотника, токуёт тетерев, ослепший, оглохший — не любовь, сильнее любви.

Жить - жить, этим словом распиралась камера, этим словом набухало сердце, этим словом затяжелела душа.

Жить, глотать воздух, полынную горькую пыль, пить запах пота и клекот копыт.

В виде игренней масти рыжего жеребца пришла жизнь и запахом конского пота ударила в нос.

На солнце в масле игреня масть — навес чуть посветлее, в самом сердце жаром и всеми блесками золота переигрывает рыжая масть.

Диким вскриком и воем ворвалась жизнь. Криком о чем — какими словами, на каком языке, древнем, как мир? Так кричали в ночной атаке, когда после осторожной рыси неслись развернутой лавой. — так кричали, когда трещал беглый огонь и тело к телу — в растерянность вспугнутого сна оседала с размаху шашка.

И сладким отдыхом в деревне вошла жизнь, отдыхом, когда еще каждый мускул дрожит, смыкаются веки, разморенные жаром пылающей печи, — но все еще зорко видят глаза и праздничный платок молодухи, на скоро повязанный, и ярь узоров на воскресной посуде и торопливость хозяина, снующего из угла в угол.

Ароматом шипящих в сале сочней или ореховым запахом загорелой кожи, или запахом конского пота, — смехом - ли ребят, когда после выпивки ахают частушки, — солнцем - ли, звездами - ли вошла жизнь, — но вошла круто, взяла в обхватку, не выпустит.

Где были мысли, где были руки, когда с ветром в споре, жизнь не сумел оседлать, как коня, — погубил себя, проиграл свою голову.

Только бы в право загнуть, до поворота, до буерака, у сломанной вербы.

Не повернул, влево взял, сволочной.

Не крик, не стон — ни волчий, ни человеческий голос. Ни зверь, ни человек так не тоскует.

В строгую одиночку ходу нет никому: всякому жизнь дорога.

В квадрат дверного окошка — хлеб и махорка; в квадрат — оловянная миска с похлебкой кувырком шваркнулась на пол, тухлой капустой залила пол; в квадрат — гуща слов крутого засола — не провернешь.

В круглый волчок любопытный глаз.

Есть на что посмотреть: ратоборство, спор жизни со смертью — вечный спор.

Но долго смотреть не выдержит ничей взгляд, и конвоиры смущенно отводили глаза.

Если долго смотреть, поверится: стены рухнут, не выдержит кирпич, не выдержит решетка. И железо плавится огнем, а огонь не бывает горячей таких глаз.

VII.

Отделенная Паша дружбу свела с бессонницей. Как спать, в гости жди, придет не звана, не прошена.

Паша, отделенная, давно в тюрьме: еще при старом режиме гремела ключами, еще при старом чужими бедами изнашивала сердце. Копила груз забот и годов, и с каждым днем тяжелее ноша.

И старость, и работы прибавилось. Днем для дум времени мало: с ключами, со щами, — бывают дни с таким духом выдадут, что того и жди расплещут в лицо — не легкая служба.

А ночью всякая дневная забота заботит.

Привыкла в дежурство не спать, в ночном дежурстве никогда не заснет.

— сидит в конце коридора, ключи на брюхе под передником, носом поклует — ночь прошла.

Когда нет дежурства, зажжёт лампаду перед «Умягчением злых сердец»; между Троеручицей и «Нагим Оде-

яние» — стоит Умягчение, любимый образ, и лампадка как раз по середке освещает Пресветлую, — ляжет Паша, сна нет — бессонница.

С тех пор, как услышала ни человеческий, ни звериный зык в камере № 24, совсем не до сна.

Мало ли проходит их, смертников. Мало ли провожала под яблоню.

На заднем дворе под яблонею расстреливали и там же закапывали и хоть теперь стало тесно покойникам и возят на расстрел к оврагу, но так и осталось: — под яблоню. —

Яблоней на допросах вынуждали признания; Яблоней полнились сны, от которых с криком просыпались на нарах в холодном поту; — яблоня — яблоня не уходило из мыслей — прокатывалось шопотом по корридорам, когда шаркали ночью подошвы и гремела связка ключей. Яблоня — грохало в каждом сердце, когда ночью в черных кудлах билась заведенная на месте машина.

Но никогда еще так розово и не иссякаемо не цвели цветы яблони, как в эту весну, и так крепко не ядрились тугие бока мамутовских ранних, как в это лето.

Мамутовскими яблоками славился город, и в бессонную ночь думала Паша о том, как на проклятом дворе раздобрела яблоня, и может ли святая вода в Спасов день освятить те, не к добру налившиеся, яблоки.

И в общих и в строгих много годов отмыкала и замыкала замки Паша, еще при старом режиме гремела ключами, но сердце — сердцем, женское — женским осталось. Шерстью не поросло.

Смертник в строгой — Паше, отделенной, не снится. А этот, из 24-ой, — о нем больше всего гребтится. И рядом с лампадой лепит восковую свечу Умягчению. Владычицу просит умягчить сердце. Чье сердце?

О 24-ой думает отделенная, бессонными мыслями в смертную камеру, перехватывает его бессонные мысли.

Там в 24-ой не секунды бегут — месяцы, годы с двухрядкой, в новом негнущемся ситце, пахнут ореховым листом и польнью летние ночи и в темноте угаданные губы.

И вперед бегут и вспять огородами, стрекают крапивою босые ноги мальчишек, гонят на реку мальков ловить, в тихих заводях, и опять вперед чехардой —

— лушат семечки посиделки, заливаются новыми частушками и дружным хохотом, с пылу — с огня — первый он был на придумку, и никто лучше своих и чужих не прохватывал.

Бегут зимы и весны — деревнями в чужих краях, городами, окопами, за одной зимой две весны подряд, за весной впереймы зима — все вперемежку, в снежных заносах; в работе и орудийной пальбе торопится жизнь, тяжелыми снарядами опрокидывает дни, острой косою выкашивает дни — жаркие дни.

Шумит весноводье. Бульканием, клыканием, дробью и лешого дудкой играют овраги и буераки. Весноводье, вешний разлив, — вот когда в первый раз вошел в сердце Марусин плач, — кликуший клик.

В день Марии заиграй — овражки, — в церковном дворе под черным платком лежала Маруся.

Мария Египетская не изгнала в день Ангела черную немочь, хоть нерушимо верили, если дожждаться дня встречи Марии с воскресным днем и во время обедни вынуть частицу за здравие — исцелится больная.

Святая не помогла, и еще пуще Маруся в обедню раскликалась и смутила молящихся в храме. Колесом выгибалась под черным платком на церковном дворе, на мокрой земле — еще только снег сошел — лежала и жалобно кликала, — кого выкликала, над кем плакалась? Судьбу выкликала. В пленканьи вешних вод забулькали дни — Марусины дни. От Марии заиграй — овражки до Красной Горки.

Маруся — жена, тихая, припадочная — судьба. Из буйных буйному, из непокорных — непокорливому, первому силачу, что смолоду — ни по чужому указу, ни под чужой волей — судьба.

С темным лицом, светлым глазом — кликуша. Подстрижен темно - русый волос, спереди челкой, как у малых ребят.

Споткнулось время, запуталось в некошеной траве. Спутались дни и ночи, засмотрелись в светлый омут глаз.

VIII.

Уже к рассвету время шло. Завел сон глаза отделенной, утомилась ночными беседами, ушла бессоница.

А в 24-ой солнце стояло высоко, мутило зноем, сохли губы. Марусина ладонь свежила горячий лоб.

И вдруг, как в ту ночь, когда прощались — заплакала, по темному лицу — от болезни у нее лицо почернело — сбегают слезы.

И как тогда — хоть бы дитя у нас было. И руки жалостно сложила, совсем ребячьи руки.

Но как тогда — не засмеялся.

Не любил он ребят. Еще тогда, когда жизнь между двумя походами цвела для него как сад, глазами женщин и черными и русыми косами, он говорил каждой: в случае чего брошу. И хоть и так бросал — как не бросить, когда сегодня здесь, а завтра далеко и в каждом новом месте пышнее и краше цвели — каждая удержать хотела, отводу от них не было и никогда не слышал о ребятах и разговору о них не было. Сказал, как отрезал. Каждая — понимала.

А с этой, с Марусей, с женой - сама, как дитя, кликушка.

Детей не любил, а вот с Марусей, как с дитятей хороводился. И милее всего была после припадков.

Еще колесом выгибалась, глаза белые, как блесна в воде, руки камнем каменеют, и держит он их, своим дыханием согревает. Не знаешь, куда ушла, не докликаться, не дозваться. Где с кем говорит, с кем перекликается? Под черным платком тело, как камень - гранит, откуда сила пришла, никакой силач не пересилит. Когда первый раз эту чужую силу нащупал, жутью стянуло сердце — сердце не знавшее страху. Вот так и сидел и ждал — обмякнет, опять теплеет, податливая, опять ребячьим глазом смотрит — где была, что делала — ничего не помнит,

как с неба упала, как на свет народилась. Только и помнит начало, и любил он рассказы, как накатила радость — радость такая, что и нет на земле, жить нельзя с такой радостью. Понуждал говорить еще и еще — как птицей вылетала душа — Куда вылетала? Слушал бы да слушал, хотел до самой до души дойти, вызнать до самого корня, что там внутри бывает. Но дальше не помнит, ничего не помнит Маруся.

С каждой, с самой красивой кончалось всегда: на всякие голубые глаза еще голубее встречал, на черные еще круче чернота бывает, но вот милее Маруси не было, тут и предела нет и конца нет.

Засмеялся тогда

— куда нам дитя — где растить — на коне, в походе—
А вот теперь не засмеялся, сам повторил
— хоть бы дитя, своя кровь.

В рассветных кисеях барахталось — сопело. Молоком, детской прелью остро шибало. Запах дитяти, как запах навоза — крепкий и цепкий запах жизни.

И от запаха тления и смерти, куда толкала судьба — бросало сюда, где круто пахло жизнью. В споре со смертью — жизнь перетягивала, жизнь побеждала.

Если бы жизнь да сначала, разве бы так силу растратил. Выйти к началу и опять зашагать. И уж он идет в зелени, лугом идет, а навстречу старик, старый, седой и такой простой старичек, борода круглая, клубом. Срезает деревья ножницами, ловко срезает, сразу отхватывает верхушку. Ровное, одно к одному дерево, как братья родные, верхушки клубом.

— Что делаешь, дедушка, зачем верхушки снимаешь?

— А это я сны стригу, чтобы не узнать, когда их на землю пошлю. Не узнать бы что к чему. Вот и ты не узнал.

Так ему горько стало. Заплакал. Слеза мужская — тяжелая слеза. Он и в малолетстве не плакал, а тут не выдержал, руку насквозь слеза прожгла, оловом в землю — выжгла дыру.

Над ним конвоир с чайником и ноганом — боялись

его конвоиры с того дня — наклонился, за плечо трясет. На руку горячая капля из чайника — прожгла руку.

Проснулся, сразу ничего не понять. Ни старика, ни деревьев — конвоир пятился к двери. Встал он, молча взял чайник.

Посмеивался за дверью конвой: всякий так — покуражится, об стены кулаки отобьет, да и скопытится, хоть будь ты сам атаман.

А у него в мыслях сон.

«Чтобы не узнали что и к чему». Чудной старик — про что говорил — то? Словами не сказать, а сердцем чувствует: сон как то спутан с Марусей. Все одно к одному. Жизнь, как сон: был человек — вышел весь. И нет ничего, — как дым. Следов не найти. И не узнать. А была бы кровь своя — узнал бы. Вот он о чем, старый, загадку загнул. Ты, говорит, не узнал. И опять, как во сне, так ему горько, — к сердцу, к глазам подступает.

IX.

Слава атаманова гремела по всему краю, от Волги до Урала, до Москвы докатывалась; не даром всполошились на верхах и слали приказ за приказом: ликвидировать.

На бумаге легко — без промедления, а здесь зеленые банды росли и росли.

И никакие приказы не могли ликвидировать.

Из тесного кольца окружения он прорывался и уже стоял в тылу у красных со своим непобедимым летучим отрядом, и смеялся над врагом, и загонял его в засаду, приготовленную ему самому.

Там, где готовили гибель ему, попадались в ловушку они.

Так орудовал он. непобедимый и неуловимый.

То здесь, то там играла на солнце игреня масть, и со своей кликушей — где был он, там и она с ним — праздновал победу. В деревне, превращенной в генеральный штаб лесной армии, или в зарослях орешины — равно

буйно и весело праздновали. Бой — праздник, отдых — праздник. Для новых побед, для радости без предела текли дни.

Всюду, где перебирал ногами, с лету осаженный, игрений жеребец, а за ним выросал конный отряд отчаянной смелости, один к одному подобранных, бойцов, — ворота настезь.

Спрыгнет назем — земля гудом, вроемся в землю ногами, как дуб — бурей не выкорчевать. Стоянка, где хочешь, всюду кров и приют. Гремела слава от Волги до Урала, до Москвы докатывалась.

Но не об этом думал на нарах, хоть знал: последние дни. Засмеяли бы в глаза товарищи, его лесная братва не поверила бы, если бы знала, о чем думал он в последние дни.

О мокрых пеленках, о жадном рте сосуна, о чем и не вспоминал никогда, на что и не смотрел — есть на что смотреть.

Морду в кровь раскроил бы всякому за такую шутку: попробовал бы кто сказать, о чем в смертный час будет думать знаменитых побед атаман, гроза красных непобедимых частей.

Но думал с той самой ночи, когда снился чудной старик.

Только об этом и думал. И еще о том, как вырвали колючий бурьян, вырвали, бросили, и как иссох бурьян и рассыпался — следов не найти.

Еще о яблоне думал. Под яблоню пошлют, под яблоней закопают, и следа не останется. — разве еще румянистее вызреет яблоко к лету, мамутовское, краснобокое.

И о смерти рыжего жеребца думал, о последнем храпе его, о том, где кости его, где глаз его, человеческий понимающий глаз, что в нетерпении скашивал на него, своего хозяина. И где будут его глаза, атамановы, жадные к жизни глаза, ненасытные глаза, — не глаза, мамутовские яблоки увидят летнее небо.

О весноводье думал он, о том, как весняк сгонит последний снег, и опять пойдет зеленью степь и цветами ов-

раги, но не будет ни глаз, ни ушей, чтобы видеть и слышать. Как конь, как бурьян — без корней. Если бы корнем в землю уйти, корнем за нее зацепиться. Если бы кровь свою на развод оставить, рви, тащи хоть на тот свет — не оборвется.

Марусин кликуший клик в сердце стоит — о ком клик? — не о нем ли, не о судьбе ли его кликала? Не о колючем ли бурьяне, вырванном с корнем. А если бы корнем в землю уйти. Как облака в знойный день — менялись и уплывали его мысли и вспухали грозой, предтечей дождя, несущего жизнь.

О чем ни думал, все к одному сбегали думы, как ручьи в половодье в русло одно.

Пашино сердце зовко на чужую беду: сердцем учуяла. На тайное зорок старухин глаз. Когда высмотрела? То ли, когда в обед бачки с горячим таскала, то-ли в волчок подглядела, или бессонными мыслями ночью, шастая по камерам, столкнулась с его думами?

Только Паше все, как на ладони.

Когда зажигала половинную свечечку Умягчению — пришли времена такие: и воск в диковину —, знала, чем уголить смертные печали обреченного под яблоню. Знала, чем, — но как приступить — не легкое дело — задумала Паша такое — выйдет - ли по задуманному, сама не знала.

Х.

Не знали и знали — никем не сказано — всем известно. Вышли все сроки. Как ни запутывал время лисий ум — расстаться трудно; сладко и ночью проснувшись думать о нем —

—но время пришло.

Оттянуть — потерять. вдруг приказ из Москвы — мало-ли что из Москвы шлют — и хоть отписано: по делам следствия необходимо личное, — да вдруг увезут. При одной мысли делалось холодно.

Лучше ускорить и самому до конца

Насторожилась тюрьма. Ждут по ночам: — зазычит машина — под яблоню путь короткий, но будет всю ночь мчаться мотор.

Для перешага в вечность не надо пространства: карьер на месте домчит в вечность — путь в небытие.

Может быть знали, может быть нет, только чаще в женских залихватый лай истерики.

Начинала одна, подхватывала в общей другая, откликались где - то в дальней и в строгой — с затяжкой на самых верхних нотах.

Конвой крыл басом по всякому — как не крыть: то за водой, то за фельдшером, — в кутерьме подглядывались козыри, и путались карты — злобствовал конвой.

Знали все: под яблоню. Только не знал в 24-ой. Как всегда в последнее время жил десятилетиями вперед, думал о сыне. Если бы был — сильный и крепкий, железный кулак, без дрожи рука — в отца.

Не знал. За него знала Паша, отделенная. Она тоже жила не днями — годами, сушила мозги.

В женские входила, как кошка к мышам. Каждую щупала, ела глазами.

Вот бы такую, краснорожую. Ходит, боками трясет, трясогузка бесхвостая. Никого не пропустит, глазами на всех зыркает. Да что толку в такой — на проезжей дороге... нет, не такая нужна.

Есть и еще: молодая, в охотку пойдет, бойкая, дерзкая, — одна беда: дело сурьезное — сама своими руками продкома топором уходила. За это по голове не погладят: под яблоню и весь разговор.

Есть и еще — со всех концов навезли баб — любая пойдет. Но все на одной, все на единой глаз отделенной.

Агнец пасхальный — весенняя ярочка. Белая блузочка, головка круглая, волосок к волоску, скромница, тихая — книжку читает. И дело ее пустяковое: не так, как надобно — кто их там разберет, что теперь требуется — в школе учила ребят. Нашелся какой - то, по злобе донес, — разве на всех угодишь. Только правда наружу вышла, — сказывали, скоро пойдет на свободу.

Ночью Паша не спит — завтра последняя ночь — завтра дежурство ее.

Чуть рассвело — в женскую. Еще и кипяток не разносили, звякнула тихо ключами и к ней.

Сон молодой, предрассветный: не легко пробудиться — ни о чем то ей не гребтится — спит.

Растолкала сонную, шопотом позвала окна мыть в корридорах — ни от какой работы не бегают, хоть и чистая барышня — согласилась.

Думала, скажет на-прямик: так и так, барышня, белая голубь, спасай человека.

Но как уставилась в синь девичьих глаз, все слова растеряла.

Думала напористо, а как пришлось словами, все вышли:

— смертник тут в 24-ой мается — ночью ему почитать от писания

— только и всех слов.

Бледная, бледная, краше в гроб кладут, дѣвушка хрустнула пальцами.

XI.

Вниз уходили нары — ниже и ниже, стены вкось, стены ввысь. Молотком в темя, молотком в лоб, в висок — в левый, в правый

«Вздымайся выше
Наш тяжкий молот
в стальную грудь»

Не в грудь — в темя, в висок

стучи — стучи.

Все голоса в один удар — чугуном в висок.

Было - было — выстукивает каждым ударом. Не было — в правый. Могла — не могла.

Нары уплывают, за ними стены — медленно каруселью кругом — песня закручивает карусель ту же, вздымает вверх, с размаху в сердце боем: могла.

Карусель кружится от окна к двери. Когда захлопнулась дверь, сразу поняла. Как поняла? В молчании — так никто не молчит — или жаром дыхания — дышал часто и жестко, — или глаза сказали. От его дыхания не хватало места. Опять захлеснуло ужасом, но усилием воли на поверхность, ухватилась за нары, как тогда за ручку двери — из последних сил.

Уплывает дверь — от двери к окну, дергается решетка вверх — вниз, дергалась челюсть, дергалась губа. И он пятился от двери — за нары, в угол, в стену. Оттуда лизало губы жаром дыхания, вдавливало в дверь — не хватало места.

Оттуда слова — какие слова? — не слова — камни, груды. Громоздились, наваливались, вздымались все выше — горы. На самой вершине, на круче.

«Вздымайся выше

Наш тяжкий молот.»

Выше — с размаху. Опустился сразу, руша все, вместе со стенами. Падали решетки, падал потолок, падало лицо чудовищно невиданное, падали руки — пуды. Камни на ногах, камень на груди. Не в дверь ринулась ища защиты — нет: в эту минуту всю свою жизнь с птичьего полета сразу опять пережила — и когда маленькая и потом — все поместилось в одной секунде: и мама, и Костя, вспомнила белое платье, мама писала, будут свечи и хор

«В стальную грудь
стучи — стучи»

Будут петь в церкви

«Мы кузнецы
И дух наш молод
Куюм мы счастья ключи»

С Костей. Костя будет петь

«Вздымайся выше»

Но она будет молчать, как тогда — пусть думают.

— Силком не надо — по доброй воле — об этом не скажет. Добрая воля — что это? — воля — к чему воля?

Волна отвращения подняла с нар и с силой бросила вниз лицом. Нары проваливались вместе с полом.

XII.

Лисий глаз подкрался к волчку — будто сам глаз выверлил круглое отверстие. Выстрелом в камеру: ударился в стенку и отбоем пока не столкнулся с другим, спокойным и светлым.

Столкнулся и замер.

Последний день его власти, последний день хождений в зарослях чужой души — в таких дебрях еще никогда не бывал.

Радость ожидания не больше ли свершения? Умышленно замедлял шаги. Предвкушал минуту, когда пригвоздит глазом, — так в детстве на булавке тяжело вертелся бронзовый жук.

Для этого последнего дня берег силы. Этот последний день вознаградит за все потерянные в молчании.

Пусть был неудачен улов, но последний день — его день. И хоть придет еще один, но там — винтовка, здесь — глаз, в живое тело души, его глаз — орудие нетелесной казни. Тело презирал — к другому елеклась душа.

Всею ненавистью, всем бессильем перед этим, со стиснутой челюстью. Когда хотел войти в потайные ходы — наткнулся на свинцовую завесу его глаз, и уж туда никаким прожектором.

Так и ходил вокруг да около.

В тот день, когда жизнь вошла в 24-ую и диким вскриком — какими словами, на каком языке — собрала к дверям испуганный конвой, — он ликовал.

Думал — время пришло. Но ошибся — такой на все готов: головой в окно, на штык, на ноган.

Может быть мог бы вырвать слова, как у других, но что толку в словах с кровью. Ждал последнего дня, когда будет кровью истекать душа. Глаз отбоем — в другой глаз — насквозь пригвоздил к стене. Но ни на что не натолкнулся, прошел легко, не задев: человек стоял невредимый, как призрак.

Вытащил глаз, снова взял на прицел — вонзился в чужой, спокойный и светлый.

И опять не задел. Шарил лисий глаз по лицу — ни один мускул не дрогнул. Челюсть не сжата. В глазах и в губах — уверенность покоя в такую минуту. Стоял на своем крепко, крепче всего, что в жизни знал лисий. Понял: теперь ничем ничего.

Вместо последней минуты — для нее берег все силы, память о таких минутах не умирает, —

— другая, где не он хозяин, другая минута не его — другого с другой вечностью, смутно угаданной, ему непонятной и неподвластной.

Лисий глаз отскочил. Молнией мысль: не сошел - ли с'ума тот за дверь? Если так —

И опять в волчок. Но там ни следа безумия: глаза ясны и непонятны покоем — на своем крепко стоял — в такую минуту. Или сам сходил с'ума?

XIII.

Волновалась тюрьма — и в мужской и в женской стало известно: сегодня ночью — под яблоню.

Не спокоен конвой: сместили кое-кого, пригнали новый, усиленный, но никто не знал, как повернется дело.

Ждать всего можно было. Не даром самый главный, над всеми входящими и исходящими хозяин, над всеми ордерами и на жизнь и на смерть — от его глаз никто не уйдет, он все знает, его все боятся: к нему попадешь, дорога одна — под яблоню, —

— подал в чистую, ушел навсегда. Так и сказал: не вернусь и даже на ту, на свою в желтых кудлах, не взглянул. Лисий нюх у него, и если ушел, дело ихнее плохо — почувял. Ждали всего.

В женской всего беспокойней. В женской тесно, не хватало нар, не хватало коек и места на полу не хватало — из деревень навезли. Из самых дальних и баб, и старух, и девок — кого только не пригоняли. И каждую за помощь, за укрывательство, за соучастие, а главное — узнать о самом: где, с кем, когда.

Дорого заплачено за вспухшие пышки, за взгляды из под праздничных узоров платка. Заплачено хождением по мукам: с допроса на допрос. От одного к другому, все перещупали и глазами, и руками, и прикладами.

Но как ни дорога цена, видно было за что платить: по углам шепотки — все что было и все чего не было вспоминалось навывбег.

И над тем что было и над тем чего не было проливались горячие женские слезы.

В женской — слезы, как дождь — хоть и ведро стояло и жаром морили дни, — еще бы:

— сегодня в ночь.

Всех водили по мукам и каждую спрашивали: знала ли самого, где и как встречались. Да кто же не знал Ермолаева? Знали все, кто видел, кто и не видел, еще лучше знал. Разве видеть нужно своими глазами, а ветер на что? Ветер вестничал, разносил молву во все концы. Знали все и теперь вспоминали, как увидели в первый раз, да что сказал, да как посмотрел, да какие глаза синие. Русый, плечистый, говорила одна, черный, как смоль, — для другой и совсем не плечистый, а высокий, да тонкий. Каждая спорила, каждая стояла на своем. Да и спорить нечего: он такой — всех обойдет. Разве и здесь, не глядя на стены, замки и конвой, не являлся он по ночам, не смущал покоя, не расцвечивал жизнь ярью невиданных узоров. Были такие — приходил он к ним тихомолком — такие больше всех могли бы о нем рассказать, но помалкивали, хоть и больше всех убивались.

Стыла похлебка с капустой, селедочные головки плавали гоголем, уносили нетронутым ясно начищенный бак.

И в смятеньи молчал Ундервуд. Стукоток жизни и стукоток смерти умолк. Малиновый лак не блестел победно, в ладони впились ногти, испуганно вихрились кудерьки. Над книгами чужие равнодушные лица, непривычные пальцы перебирали исходящие жизни.

XIV.

А его мысли к одной, к голубице, к сахарной белой царевне его, той, что пришла добровольно в последний час. Он видел, как шарахнулась в ужасе, испугалась и дрожью дрожала. Он видел, хотела на помощь звать. Но за жизнь ухватился.

Словами древними — древнее мира — тысячи слов говорил или в молчании вымаливал, он не знал. Не о жизни молил, уже не о жизни шел спор — жизни теперь ему мало, — о вечности, о бессмертии шел спор.

Как остался в споре со смертью победителем, он не знал. Но бессмертие из рук не выпустил.

В вечность корнем ушел, будет расти его кровинка. Жизнь упустил — взял бессмертие. От смерти в новую жизнь. В жизни, в новой жизни сомненья не было: разве можно сомневаться в том, что в положенный час встанет солнце и в яроводье зашумят овраги.

Когда зашумят, на весеннее солнце откроет глаза богатырь отцовской силы, в чуде рожденный. Или не чудо: приход голубицы, или не чудо вместо смерти — вечная жизнь. Когда лисий подсматривал, ничего не боялся, на своем крепко стоял, держал тайну своего бессмертия.

Она лежала на нарах под шубой, хоть полдень духовой и зноем томил: трясла лихорадка.

И не слышала, как весь день кипела тюрьма, как и воздух тяжелел близостью смерти.

Слухи из окон, слухи из дверей, в волчки и щели — бисером раскатывались, — подбирай, носи пригорошнями.

Зеленые подходили к городу. Еще вчера эстафет прислали сутки сроку на размышление — к вечеру срок истекал.

И не даром самый главный ушел и на свою желто-кудластую не посмотрел: уехал в Москву, к самому Ленину поскакал. Пока скакал, от Троцкого телеграмма: везти в Кремль, потому Ермолаев дал клятву служить коммуне.

Только все напрасно — самого нет в тюрьме, давно подменили, остался за него подставной, — над ним и разговор был, а сам — ищи ветра в поле.

Все ждали ночи, вторые сутки сна никто не знал.

Она лежала под шубой, не слышала. Стиснула зубы. Как морская болезнь, подступала ненависть. Судорогой сжимала горло, свешивала с нар вниз головой, выдавливала горькую слюну с желчью. Ненависть жгла, ненависть огнем прожигала мозг — ни одной мысли не осталось — мысли в теле, — тело кричало: хоть бы умер скорей.

Трясло лихорадкой нетерпения: скорей бы.

XV.

Все на ногах, никто не спал, — так встретили трубу страшного суда — гудок машины смерти.

И когда начался — бег в вечность, слушали стоя.

Не защищали двери, не защищали стены, сквозь доски и камни — дыхание.

Сквозь доски и камни — глаза.

И как шел уверенный, спокойный и начисто выбритый, видели все. Так на воле шел в бой.

И как улыбались светясь глаза, видели все. И как билось ускоренно и твердо сердце, слышали все. Так билось сердце перед победой в бою.

И как говорили губы: прощай, братва, не поминай лихом, — слышали все.

И как переждав, одним выдохом:

—прощай, голубка, сбереги его —

слышали и долго потом, много дней и ночей судили, пересуживали: кому слова и кого беречь приказывал.

Она под шубой, одна во всей тюрьме, провожала лежа, и не слышала — молча исходила криком: только бы скорей.

Молчали, но в молчании и трубы и медь.

Гудки машины смерти, барабанный бой мотора, не сходя с места мчавшегося в вечность, или тысяч грудей задержанное и с шумом выдохнутое дыхание, —

Но были торжественные проводы.

И только когда замолчала барабанная дробь машины и погасили свет, взвились женские крики и бились о стены темноты.

Но ни истерики, ни бас, серьезный бас конвоя, покрывший все, не помешали ей. Заснула сразу, без перехода — в сон, в небытие — после двух бессонных ночей.

XVI.

Проснулась от тишины — так по ночам никогда не молчала тюрьма — только в эту ночь, после двух суток, после бури — тихая завень.

Стукнуло в сердце:

— Кончено.

Села на нары, спустила ноги, провела рукой по лицу, потянулась к воде. Шарила в темноте, что-то опрокидывая.

Пила долго, не отрываясь — поставила кружку. И твердо, спокойно, как черту, провела

— значит навеки. С ним неразрывно.

Такой тишины не бывало в тюрьме. И в ней тишина.

Единственный — первый. Не человеку данная клятва, пусть не словами, тайным согласием данная, в вечность унесенная клятва — нерушимая клятва.

В тишине, как звезды, расцветали мысли. В тишине расцветали слова, его слова, как заклятья, теперь услышанные слова — оттуда, где нет ни измен, ни разлук. Разве ребенок придет в мир — не ребенок — вестник оттуда придет: связь, нерушимая связь с миром иным.

В тишине мысли, как звезды, — вокруг грядущего пришествия в мир.

Ольга Колбасина

Л е с т н и ц а

— ПОЭМА —

Короткая ласка
На лестнице тряской.
Короткая краска

Лица под замазкой.
Короткая сказка:
Ни завтра, ни здравствуй.

Короткая схватка
На лестнице шаткой,
На лестнице падкой.

В доме, где по ночам не спят,
Каждая лестница водопад —

В ад...
стезею листков капустных.
Точно лестница вся из спусков,

Точно больше (что — жить? жить — жечь!)
Разставаний на ней, чем встреч.

Так, до розовых уст дорваться —
Мы порой забываем: здравствуй.
Тех же уст покидая край,
Кто — когда — забывал: прощай.

Короткая шутка
На лестнице чуткой,
На лестнице гудкой.

От грешного к грешной
На лестнице спешной
Хлеб нежности днешней.

Знаешь проповедь
Тех мест?
Кто работает —
Тот — ест.

Дорого в лавках!
Тош — предприимчив.
Спать можно завтра,
Есть нужно нынче.

В жизненной давке —
Княжеский принцип:
Взять можно завтра,
Дать нужно нынче.

Взрывом газовым
Час. Да - с.
Кто отказывал
Тот — даст.

Даст!
(Нынче зубаст
Газ) ибо за нас
— Даст! — (тигр он и барс)
— Даст! — Чорт, а не Маркс!

Ящик сорный
Скажут, скажите: вздор.
И у черной
Лестницы есть ковер.

(Масти сборной,
Правда). Чеснок. Коты.
И у черной
Лестницы есть Cothy.

Любят сласти то
Червяки теснот.
Это — классика:
Чердаку — чеснок.

Может лечатся...
А по мне — так месть:
Черной лестницы
Черноту заесть.

Стихотворец, бомбист, апаш —
Враг один у нас: бель - этаж.

Короткая сшибка
На лестнице щипкой,
На лестнице сыпкой —

Как скрипка, как сопка,
Как нотная стопка.
— Работает топка!

Короткая встрепка
На лестнице шлепкой,
На лестнице хлопкой.

Бьем до искр из глаз,
Бьем в лежь.
Что с нас взыскивать?
Бит — бьешь.

Владельца в охапку
По лестнице капкой,
По лестнице хлипкой —

Торопится папка,
Торопится папка
Торопится скрипка.

Ох спал бы и спал бы!
Сжевала, сгноила, смолола!...
Торопятся фалды,
Торопятся фалды,
Торопятся полы.

Судоржь! Сутолочь!
Бег! Приз!
Сами ж путают:
Вверх? Вниз?

Что этаж — свой кашель:
В прямой связи.
И у нашей
Лестницы есть низы.

Кто до слез, кто с корнем,
Кто так, кхи кхи —
И у черной
Лестницы есть верхи:

— Вас бы выстукать!
— Киркой в грудь — ужо!
Гамма приступов
От подвала до

Крыши — грохают!
Большинством заплат
Маркса проповедь
На стравинский лад.

Короткая спевка
На лестнице плевкой:
Низов голосовка.

Не спевка, а сплевка:
На лестницу легких
Ни цельного — ловко!

Торопкая склевка.
А ярости — в клохтах!
Работают — ох как!

Что ни бросите —
Все — в ход.
Кто не досыта ест —
Жрет.

Стол — как есть домашний:
Отъѣл — кладут.
И у нашей
Лестницы — карта блюд.

Всех сортов диета.
Кипящий бак —
И у этой
Лестницы — Франценсбад.

Сон Иакова!
В старину везло!
Гамма запахов
От подвала до

Крыши — стряпаютъ.
Ре-ми-фа-соль-си, —
Гамма запахов!
Затыкай носы!

Точно в аду вита,
Раскалена винта

Железная стружка.
Которая стопка
Ног — с лестницы швыркой?

Последняя сушка,
Последняя топка,
Последняя стирка.

Последняя сцепка
Двух — кости да тряпки —
Ног — с лестницей зыбкой.

Последняя папка,
Последняя кэпка
Последняя скрипка.

Тихо. — Даже — кашель
Изсяк, дотряс.
И у нашей
Лестницы есть свой час

Тишины...

Последняя взбежка,
По лестнице дрожкой.
Последняя кошка.

Темнота все стерла
И грязь, и нас.
И у черной
Лестницы есть свой час.

Чистоты...

Откуда — узнай ка
Последняя шайка
— Рейн, рухнувший с Альп —
Воды об асфальт

Двора...

Над двором — узорно:
Вон крест, вон грозд...
И у черной
Лестницы — карта звезд.

Ночь — как бы высказать? *)

Ночь — вещи исповедь.

Ночь просит искренности,

Вещь хочет высказаться —

Вся! Все унижены

Сплошь, до недвижимых

Вплоть. Приступ выспренности:

Вещь хочет выпрямиться.

Винт черной лестницы —

Мнишь — стенкой лепится?

Ночь: час молитвенностей:

Винт хочет вытянуться.

Высь — вещь надежная.

В вещь — честь заложена.

Ложь вижу выломанной

Пря — мою линиюю.

Двор — горстка выбоин,

Двор — год не выгребен! —

Цветами, ягодами —

Двор бредит загородом.

Вещь, бросив вежливость:

Есмь мел! железо есмь!

Не быть нам выкрестами!

Жид, пейсы выпроставший.

Гвоздь, кафель, стружка ли —

Вещь — лоно чувствует.

С ремесл пародиями

В спор — мощь прародинная.

Стекло, с полок бережных:

Пе — сок есмь! Вдребезги ж!

Сти — хий пощечина!

Стекло — в пыль песочную!

*) Между первым и вторым слогом перерыв.

Прочь, ложь и ломанность!
 Тю — фяк: солома есмь!
 Мат — рас: есмь водоросль!
 Все, вся: природа есмь!

Час пахнет бомбою.
 Ве — ревка: льном была!
 Огнь, в куче угольной:
 Был бог и буду им!

Что случилось с кранами?
 Пал — бог и встану им!
 Чтоб сразу выговорить:
 Вещь хочет выздороветь.

Мы с ремеслами, мы с заводами,
 Что мы сделали с раем отданным
 Нам? Нож первый и первый лом,
 Что мы сделали с первым днем?

Вещь как женщина нам поверила!
 Видно мало нам было дерева
 И железа — отвесь, отбей!—
 Захотелось досок, гвоздей,—

Щеп! Удобоваримой мелочи!
 Что мы сдѣлали, первый сделавши
 Шаг? Планету, где все о Нем —
 На предметов бездарный лом!

Мы с ремеслами, мы с искусствами!
 Растянув на одре Прокрустовом
 Вещь... Замкнулась и ждет конца
 Вещь на адском одре станка.

Слава разносилась реками,
 Славу утверждал утес.
 В мир — одушевленной некуда —
 Что же человек превнес?

Нужно же, чтоб он, сей видимый
Дух, болящий бог, — предмет
Неодушевленный выдумал —
Лживейшую из клевет!

Вы с предметами, вы с понятиями,
Вы с железом (дешевле платины),
Вы с алмазом (знатней кремня),
(С мыловаром, нужней меня!)

Вы с «незыблемость», вы с «недвижимость»,
На ступенку которой ниже нет,
В эту плесень и в эту теснь
Водворившие мысль и песнь —

(Потому то всегда взрываемся!)
Что вы сделали с первым равенством
Вещи — всюду, в любой среде —
Равной ровно самой себе.

Дерево, доверчивое к звуку
Наглых топоров и нудных пил,
С яблоком протягивало руку.
Человек — рубил.

Горы, обнаруживая руды
Скрытые (впоследствии металл),
Твердо устанавливали: чудо!
Человек — взрывал.

Просвещенная сим приемом
Вещь на лом отвечает ломом.
Стол всегда утверждал, что — ствол.
Стул сломался? Нет, сук подвел.

В лакированных ваших клетках
Шумы, думаете, от предков?
Просто, звезды в окне узрев,
Потянулся, в пазах, орех.

Просыпаешься, как от залпа.
Шкаф разохся? Нет, нрав сказался
Вещи. Дворни домашней бал!
Газ взорвался? Нет, бес выиграл.

Ровно в срок подгниют перильца.
Нет — «нечаянно застрелился».
Огнестрельная воля бдит.
Есть — намеренно был убит

Вещью, в негодованьи стойкой.
В пустоту не летит с постройки
Камень — навыки таковы:
Камень требует головы.

Мечь утеса. С лесов — мечь леса!
Обстановочность этой пьесы!
Чем обставилось? Дуб и штоф?
Застрахованность этих лбов!

Все страхующих — вплоть до ситки
Жестяной. Это ты тростник то
Мыслящий? — Биллиардный кий!
Застрахованность от стихий!

От Гефеста — со всем что в оном —
Дом, а яхту — от Поссейдона.
Оцените и мысль и жест:
Застрахованность от божеств!

От Гефеста? А шпиль над крышей —
От Гефеста? Берите выше!
Но и тише! От всех в одном,
От Зевеса страхуют дом.

Еще плачетесь: без подмоги.
Дурни, спрашивается, боги,
Раз над каждым — язык неймет!—
Каждым домом — богоотвод!

Бухты, яхты, гешефты, кофты —
Лишь одной не ввели страховки:
От имущества, только сей:
Огонь страхующий от вещей.

Вещи бедных. Разве рогожа —
Вещь? И вещь — эта доска?
Вещи бедных — кости да кожа,
Вовсе мяса, только тоска.

Где их брали? Вид — издалека,
Изглубока. Глаз не труди!
Вещи бедных — точно из бока,
Взял да вырезал из груди!

Полка? случай. Вешалка? случай.
Случай тоже — этот фантом
Кресла. Вещи? шипья да сучья, —
Весь октябрьский лес целиком.

Нищеты робкая мебель, *)
Вся — чего четверть и треть?
Вещь давно, явно на небе!
На тебя больно глядеть.

От тебя грешного зренья
Как от язв трудно отвлечь.
Венский стул — там где о Вене —
Кто? когда? — страшная вещь!

*) Между третьим и четвертым словом перерыв, т. е.

Нищеты — робкая мебель,
Вся чего — четверть и треть?
Вещь давно — явно на небе!... и т. д.

Лучшей всех — здесь обезчещен
 Был бы — дом? мало! — чердак
 Ваш. Лишь здесь ставшая вещью —
 Вещь. Вам — бровь, вставшая в знак
 (?) — сей. На рвань нудную, вдовью
 Что? — бровь вверх! (Чем не лорнет —
 Бровь!) Горазд спрашивать бровью
 Глаз. Подчас глаз есть — предмет.

Так подчас пуст он и сух он
 Женский глаз, дивный, большой,
 Что — сравнить — кажется духом —
 Таз, лохань с синькой — душой.

Наравне с тазом и ситом
 — Да — царю! Да — на суде! —
 Каждый, здесь званный пиитом,
 Этот глаз знал на себе!

Нищеты робкая утварь, *)
 Каждый нож *лично* знаком,
 Ты как тварь, ждущая утра,
 Чем то здесь, *всем* — за окном

Тем, пустым, тем — на предместьях
 Те — читал хронику краж?
 Чистоты вещи и чести
 Признак: *не* примут в багаж.

Оттого что слаба в пазах,
 Распадается на глазах.
 Оттого что на ста возах
 Не свезти...

В слезах —

Оттого что: не стол, а муж,
 Сын. Не шкаф, а *наш*
 Шкаф.

Оттого что сердец и душ
 Не сдают в багаж.

*) См. предыдущее примечание.

Вещи бедных — плоше и суше.

Плоше лыка, суше каряг.

Вещи бедных — по просту — души.

Оттого, так чисто горят.

Ввысь, ввысь

Дым тот легкий!

Чист, чист

Лак от локтя!

Где ж шлак?

Весь — золой

Лак, лак

Локтевой!

Прям, прям

Дым окраин.

Труд — Хам,

Но не Каин.

Обшлаг —

Вдоль стола.

Наш лак

Есть смола.

Стол — гол — ни вещицы,

Стол — локтем вощится,

Воск чист, локоть востр.

Застывший пот — воск.

Им, им — ваших спален

(Вошим, но не салим!)

Им, им так белы

Полы — до поры!

Вещи бедных — странная пара

Слов. Сей брак взрывом грозит!

Вещь и бедность — явная свара.

И не то спарит язык!

Пономарь — что ему слово?
Вещь и нищ. Связь? Нет, разлад.
 Нагота ищет покрова,
 Оттого так часто горят

Чердаки — часто и споро —
 Час да наш в красном плаще!
 Теснота ищет простора,
 (Автор сам в рачьей клешне).

Потолок, рухнув по росту
 Стал — уж горб нажил, крался.
 Правота ищет помоста:
 Все сказать! Пусть хоть с костра!

А еще — место есть: нары.
 Ни луча. Лучная вонь.
 Бледнота ищет загару.
 О всем том — помнит огонь.

Связь, звучанье парное:
 Черная, пожарная.

У огня на жалованьи
 Жизнь живетъ пожарами.

В вечной юбке сборчатой —
 Не скреби, уборщица!

Пережиток сельскости —
 Не мети, метельщица!

Красотой не пичканы,
 Чем играют? Спичками.

Мать, к соседке вышедши,
 Позабыла спичечный

Коробок...

— как вылизан

Пол, светлее зеркала!

Есть взамен пожизненной

Смерти — жизнь посмертная!

Грязь явственно сожжена!

Дом — красная бузина!

Честь — царственно спасена!

Дом — красная купина!

Ваши рабства и ваши главенства —

Погляди, погляди как валятся!

Целый рай ведь — за миг удушья!

Погляди, погляди как рушатся....

Печь прочного образца! *)

Протопится крепостца!

Все тучки поразнесло!

Просушится бельце!

Пепелище в ночи? Нет займише!

Нас спасать? Да от вас спасаемся ж!

Не топчите золотого пастбища!

Нас? Да разве спасают — спасшихся?

Задивившись на утро красное,

Это ясьень суки выпрастывает.

*) В последних четырех строках между первым и вторым слогом — перерыв.

Печь — прочного образца!

Про — топится крепостца!

Все — тучки поразнесло!

Про — сушится бельце!

Спелой рожью — последний ломтичек,
Бельевая веревка — льном цветет...

А по лестнице — с жарко-спящими —
Восходящие — нисходящие —

Радуги...

Утро

Спутало перья.
Птичьё? Мое? Невемо.
Первое утро — первую дверью
Хлопает...

Спит поэма.

Марина Цветаева

Вандея, июль 1926 г.

Американские впечатления*)

На океане

Пароход был как пароход — все, как полагается. Утром стюард в ослепительно - белой куртке протягивал свежее отпечатанную газету с последними новостями — мировыми: Ллойд Джордж, Бриан, нота Чичерина, политика Германии, — и местными: вечером в салоне — концерт, а в понедельник костюмированный бал, завтра парикмахер закрывает в два часа. Мировые новости мы читали молча, а местные обсуждали на английском, французском, итальянском и других языках в столовой, где царил великолепный метр дотель с безукоризненными бакенбардами.

Итальянский князь (на каждом порядочном океанском пароходе имеется по меньшей мере один итальянский или испанский князь, американский миллиардер и русская аристократка, чудесно знавшая царя) — он же гранд Испании, щеголяя пестрыми галстуками, перстнями и пустою мысли, неизменно искал в газете телеграммы из Италии и жаловался соседу, на бойкот его родины, устроенный масонами. Но соседу было не до масонов: ежеутренне посылал он две радиотелеграммы: в одной было — продавайте, в другой — покупайте, одна летела в Америку, другая — в Европу. Даже качка не рассеивала его забот: в движениях парохода слышал он все тот же ритм: повы-

*) Настоящие очерки представляют собою извлечение из готовящейся к печати книги и под тем же названием.

шение, понижение. Имя его американцы произносили с некоей горделивой любовью: ибо был лысый финансист на кривых ножках одним из властителей Валлстрита*), и еще недавно прославился тем, что от богатств своих пожертвовал миллион долларов для постройки какой-то сверхоперы. Но на миллиардах не почивал, и все диктовал письма и радио сухопарому бессловесному секретарю.

Целый угол занимали священники: католический аббат в черном сюртуке, с красным носом на изможденном лице доказывал необходимость политической работы церкви — и весело соглашался с ним толстый и румяный английский пасторъ, возвращавшийся из торгового путешествия по Европе. Неподвижные, точно каменные, внимали французские епископы с фиолетовыми лентами, через тяжелого шелка рясы с аметистовыми перстнями на пухлых пальцах: ехали они туда, где провели двадцать лет — в Кантон и Кобе — и было нечто от китайской строгой мудрости в их тяжелом молчании и в суровости их желтых лиц.

А молодежь флиртовала. Всех дам побивала американка с игривым блеском подведенных глаз: браслеты, эгреты, кокетство, соседство с молодыми французами, раздетость, распутство, новое платье каждый вечер все короче, все уже, все обнаженнее. Вокруг нее стаей молодые люди — одного не отличишь от другого: у всех светлые носки, перстни, проборы, женские платки на выпуск в карманах узких рыжих пиджаков, у всех на лице смех и на устах шутка и последний парижский анекдот. Те, что постарше, тщетно старались добиться вещественных знаков симпатии от высокой мисс, до того безчувственно прекрасной, что переставала она даже походить на женщину: золото волос, небесные глаза, ангельские уста и танец до упаду — со всем и с одинаковой улыбкой. Дебелые матроны явно англо-саксонского вида, сохраняя достоинство и недовольство, неодобрительно следили за этими танцами: все в движении, кроме головы, и от взлетов юбок видны голые — по американской моде — колена.

*) Улица банков в Нью Йорке.

И танцы, и газета, и парижские анекдоты — все напоминало нам, что мы принадлежим к современной цивилизации — и даже на волнах океана подчинены ее законам и являемся ее представителями. Не переставая, трещал звонок аппарата в кабинете телеграфиста: мы слали радио и получали их, мы догоняли быстроходы — Олимпик и Мажестик, а вышедшие вслед за нами океанские громады, в догонку обращали свои увещевания просьбы, волнения. Так шли мы в полосе невидимых волн, связывавших нас с далекой землей, и католическому аббату от этого сознания делалось легче: точно есть ниточка, и соединяет она этот пловучий дом с детьми земли и ускользнувшие, истаявшие берега. Он жалел только, что еще не удалось осуществить того, над чем успешно работают американские инженеры, и нельзя с американского парохода разговаривать с сушей по телефону. «Если вы задержитесь в Америке на два года, то возвращаясь в Европу, говорил он мне — вы наверняка будете с палубы Мажестика беседовать с Нью - Йорком и по телефону заказывать комнату в парижском отеле..

В четыре часа — ежедневно — кинематограф. Завывай ветер, бушуй океан, качайся на страшных сизых волнах мечущееся суденышко — в назначенный час на дрожащем полотне важный Чарли Чаплин, утоляет голод вареной подошвой, белокурые красавицы улыбаются все той же очаровательной улыбкой — и летят автомобили, мчатся безконечные погони по людным улицам Лондона и Нью - Йорка. Танго заглушает треск аппарата — и что нам кораблекрушения и пловучие льды, когда сердце замирает в ином волнении: успеют ли предупредить коварный замысел злодея, освободят ли красавицу, спасут ли невинного.

А вечером музыка в зале с золоченными стенами и мягкими креслами. Стучат каблуки, на месте притоптывая чарльстон, принесенный из негритянских поселков американского дикого Запада, дрожат женские плечи в судороге шимми, и тянется безконечный ту степ. Трещит обшивка, стонет сирена, шумят волны — и быстрее и живее

танец — только иной раз закроет глаза нарумяненная женщина, когда слишком чувствительным окажется неожиданный крен, — и подымет обнаженные руки, точно прося защиты от врага.

Недалеко от салона — бар. По вечерам он переименован в Монмартр, там горят японские фонарики, там пляшут до утра. Каждую ночь доктор итальянец — толщины необъятной — угощает шампанским своих парходных друзей. Доктором он перестал быть давно. Теперь на границе Мексики, в Лас Пазас продает баранов и насыщает американцев и испанцев в своем ресторане. Он говорит, что пьет каждый вечер, потому что в Америке сухой режим, но в его ресторане за звонкую монету можно достать не только виски с содой, но и приятных собеседниц, чтобы втайне распить бутылку французского шампанского. Так утверждает приятель доктора, вечно спорящий с ним о Муссолини. Доктор сравнивает Муссолини с Иисусом Христом, повергая в ужас епископов, аббата и пастора. «Конечно, он велик как Христос, но без божественности», спешит добавить благодущный ресторатор из медиков. Приятель морщится, машет рукой — ничего не поделаешь с этими сумасшедшими фашистами — и запивает обиду бокалом вина.

Тут же трагические испанцы и перезрелые дамы устраивают лотерею в пользу питомиц высококонравного общества, и портреты Лафайета и Вашингтона, книжки сомнительного содержания и бутылки ликера награждают затраты разошедшегося пастора и десятка лысых финансистов, на мгновение оторвавшихся от глубокомысленного и нескончаемого бриджа.

К полуночи — дым коромыслом, и три музыканта остервенело играют жазз банд во славу неутомимых танцоров. Только на минуту упадут в кресло растрепанные француженки, смешливые итальянки и коротко - остриженные мисс, потянут сквозь соломинку ледяной напиток — и уже опять прижавшись к черным смокингам и белым грудям рубашек, кружатся в танце, вздрагивая плечами и бедрами. А толстяк доктор хлопает в ладоши; от шестого

бокала шампанского, приправленного четырехэтажными коктейлями, испарина проступила на лбу миллиардера, и аббат опускает глаза, когда в порыве танца взлетающие юбки обжигают его острые колени.

Я выхожу из салона с его театральными окошечками в занавесках и гардинах, и открываю дверь на палубу. ветер бросает тяжелой дверью, схватывает, рвет вперед, сбивает с ног, кидает к перилам, играет, крутит, грозит.

И вдруг смешными и ненужными делаются кино, газета, танцы и салон с центральным отоплением, и лаун теннис в зале и все дешевые чудеса. Их без остатка смывает темнота ночи и вой ветра. Из пустынь мира, всепоглощающих как смерть, несется исполинский порыв бури — и вот щепкой взлетает на волнах наш пловучий дом, и в ночи неслышно нашей беготни — вой ветра, зловещий рев валов, безмерное движение океана. Я думаю, какой маленький этот экран, что вешают в зале на двух гвоздях для кино.

И начинается качка. Два дня кресла, обитые кожей, пляшут слоновый фокстрот, а чемоданы летают в корридорах с балетной легкостью. Пройти от скамейки к скамейке — задача высокой эквилибристики. Хорошо чувствует себя только ирландец, приглашенный в нью - иоркский ипподром для прогулок на веревке, да обезьянообразный японец: чтоб не падать, он сел на пол и охватил руками колонну. Стулья сбиты в кучу, как стадо, и во избежание проявлений опасной независимости, опутаны канатом. Американцы пьют до безчувствия, итальянцы стонут, миллиардеры и князья исчезли вместе с епископами и аббатами, а волновавшие дамские сердца испанцы, трупам, в каскетках и пальто, не раскрывая глаз, лежат в креслах у выхода на палубу — на случай короткого и неприятного воскрешения, после которого лицо серее неподвижность каменнее. И только маленький, на всех языках одинаково плохо говорящий сухонький инженер в игривой розовой рубашке и узеньком сюртучке (наверное в кармане неприличные открытки) ухаживает за прекрасными безчувственными американками, и летает и порхает вокруг них не хуже чемоданов.

А на палубе несколько отчаянных и мрачных юношей стремятся пробежать взад и вперед, глотнуть свежего воздуха—и погибают от ветра, от обледенелых скользких досок, от перекатывающихся через голову волн. И уж нету речи о балах и танцах: за всех нас выводит эксцентрические па на злом атлантическом паркете пятиэтажный пароход.

На третий вечер — легче. Но мы не верим передышке. Стонущие дамы пытаются безпокойным и тоскливым взглядом мрачный круг барометра. В газете напечатано, что такой бури не было уже несколько лет. Нас утешают сведениями о пароходах, потерпевших аварию у берегов Америки и о матросах — «Президента Рузвельта», спасавших погибающих. Это было вчера, быть может завтра такие же радио пошлют и о нас.

И чтоб рассеять мрачные мысли — несмотря на качку — после обеда концерт. Порою тухнет электричество или от удара бури падает на пол пианист и веером разлетаются ноты — но все мы внимательно и благоговейно слушаем музыку. Это ничего, что буря, что трещат доски и скрипит обшивка. Я слушаю звуки Бетховенской симфонии и увертюры Вагнера и знаю, что у них, и у ветра, и у волн одна и та же родина. Да, это хорошо — музыка на океане, в бурю. Я вспоминаю солнце, закатывавшееся сегодня в низких кровавых облаках над тяжелой рябью волн. Я слушаю патетическую симфонию. И я горд, что эти аккорды — создание человеческое, и над стихией океана, который может через мгновение поглотить нашу ничтожную горошинку, поют победу в театральном салоне пианино, скрипка и виолончель.

И даже американские мисс опускают на колени узкие руки в кольцах и звенящих браслетах и перестают читать романы в издании Таухница. Они слушают зябко кутая обнаженные плечи в скунс, горностаи и шиншилла. Они слушают музыку старой Европы, той самой, которая чудила, мучилась и мечтала, когда не было еще ни Бродвея, ни Чикаго, ни небоскребов, ни жазз банда. И когда затихают

аплодисменты, их руки нехотя тянутся к неоконченной повести Арнольда Беннетта.

Это последний вечер. Завтра утром мы не получим газеты, потому что после полудня будем читать нью-йоркский «Таймс» и «Геральд». Близка земля. Мы приближаемся к цели. Океан остается позади нас, точно чистилище, через которое надо перейти пред вступлением в новый мир. Завтра мы покинем этот пароход — пловучий осколок Европы — и вместе с ним покинем дряхлый старый свет, завтра пред нами встанет молодая, беспощадная и великолепная Америка.

И С Т С А И Д

Истые американцы не любят Нью - Йорка. Своих заокеанских гостей они обычно предупреждают: Нью - Йорк не Америка, это город эмигрантов. Его основали голландцы, называвшие его в семнадцатом столетии Новым Амстердамом, его строили итальянцы, им владеют сейчас евреи, а управляют ирландцы. Америка — Запад. Здесь же на берегах Гудзона, черезчур много Востока.

Восток — это значит Европа. А к Востоку почти такое же отношение, что у Европы к Азии: ведь «азиат» у нас слово почти бранное. И хоть и знаем мы, что Азия родина мудрецов и пророков, но она и родина желтолицых орд.

Средний американец слышал, что у Европы — история, подвиги, культура — но он знает также, что десятилетиями посылала она за океан тысячи своих детей, как голодные орды.

Европа Америке являлась изредка в образе благородного маркиза Лафайетта, предлагавшего свою шпагу для борьбы за американскую независимость, но по большей части в виде эмигрантов: своими представителями в новый свет отряжала Европа сотни тысяч самых бедных, самых невежественных своих пасынков. В Америку ехали, те, кому не хватало места на родине: Россия посылала сюда безлошадных мужичков, отчаявшихся сектантов и раззо-

ренных погромами ремесленников Бердичева и Кишинева, Галиция — длиннородых евреев, бледных от голодухи, молитв и страха; Италия — сицилианцев с ладонкой Святого Дженнаро на груди и ножом за рваным сапогом; Словакия — мужиков в белых полотняных штанах и бараньих шапках, которые сами слетают с головы при виде пана; Ирландия — рослых крестьян из под Дублина; Польша — хлопков из Полесья и Жмуди. А за ними пестрою толпою шли венгры и сербы, греки и болгары, немцы и французы. И вся европейская беднота, все самые нищие, самые захудалые Иваны, Янкели, Гансы и Джованни сошлись в грязных кварталах Восточного и Нижнего Нью - Йорка в чайнии сытости, труда и свободы. Они приносили с собою жалкие отребья разрушенного дома и решимость пионеров, мускулы и отчаянную энергию тех, кому надобно добиться или умереть — проиграв последнюю ставку. Все они любили родину, которую покидали, даже если и говорили о ней с ненавистью и ужасом. И на новой, на чужой земле — обетованная или кладбище? — селились скопом, жались друг к другу — пугливое стадо, выброшенное из трюмов эмигрантских пароходов на кипучую сущу Мангаттана. И под неприятным небом Нью - Йорка старались они сохранить своих богов и жен, свою одежду и язык. И как ни перемалывало их колесо ассимиляции, как ни било их железной палкой в месиве американского правильного котла, постепенно превращаясь в заправских янки, все же они сопротивлялись и боролись, желая — итальянцы остаться итальянцами, еврей — евреями, а немцы — немцами. Так родились в Нью - Йорке города Ист Сайда, — еврейский и итальянский, — кварталы венгров или чехов — огромные поселения чужестранцев, многоязычные колонии старой Европы, перевесшей на американскую почву свои наречия и пороки, отличия и нелепости. Здесь оказалось евреев больше, чем в Иерусалиме при царе Соломоне — около полутора миллионов, итальянский Нью - Йорк со своими восемьюстами тысяч итальянцев стал больше Рима; здесь 700 тысяч немцев; 600 тысяч ирландцев, 150 тысяч поляков, по сто тысяч венг-

ров и чехов. Здесь в телефонной книжке 1530 Морфи — самая распространенная ирландская фамилия. Меньше всего в Нью - Йорке американцев: только полтора миллиона из почти девяти миллионного населения Нью - Йорка — американцы, остальные или иностранцы или дети иностранных родителей.

Города иностранцев не имеют точного обозначения на карте Нью - Йорка, их границы, их расположение изменчивы. Это «ползучие города». Вон на этих улицах двадцать лет тому назад жили евреи, они продвинулись к Западу, их место заняли поляки, пошедшие перед войною к югу, польские кварталы заселили греки. Старые жители Нью - Йорка могут рассказать о десятках таких национальных премещений — но все же Европа — это Восток, и восточная часть города, Ист Сайд, скопище новых и старых эмигрантов, из которого потом разливается по всему Нью - Йорку волна иностранцев; та американская земля, на которой селятся все пришельцы издалека — все, кроме негров: выходцы из Африки и из Южных Штатов расположились в восточной части Верхнего города — там черные кварталы, с негритянскими церквями и кинематографами, школами и газетами.

В Европейскую тесноту и пестроту Ист Сайда врывается американский Нью Йорк. Америка побеждает, восточные кварталы все более теряют свой экзотический облик (в Америке Европа — экзотика), динамит взрывает старые шести - этажные дома красного кирпича с балконами и наружными пожарными лестницами: на их развалинах в два месяца взлетают к небу двадцатипятиэтажные махины из стали и бетона. А если прекратится приток новых эмигрантов, родиной станет Америка для тех, чьи отцы, помнили о холмах Тосканы и базарах Украины и пели песни Ольстера и Рейна: детей всех стран и народов, пропустив через свои обязательные школы, обучив своему языку, расплющив своим прессом, сделает едиными сынами обширной земли нетерпеливая и властная Америка. Тогда вновь разрушатся стены Нью - Йоркского Иерусалима, и падет Рим на берегах Гудзона.

Но покамест, на сотни улиц, на пространстве, равном Парижу, от Нью - Йоркского «дна» — Бауери, до 14 улицы, а частью и вверх до Лексингтон Авеню, тянется исполинское «еврейское местечко». Конечно, это Нью - Йорк: над головами, на железных мостах лязг и грохот воздушной железной дороги, к шахтам подземки потоками — толпы; вспыхивает красный огонь на сигнальных столбах, чтоб застопорить, — зеленый. — чтоб во весь опор пустить жадной стаей автомобили и прохожих; между старых — им уж пятнадцать лет — домов, многобашенные исполины, на вечернем небе, на высоте тридцатого этажа разноцветные переливы световых реклам; над порогом музыкальных лавок рупоры гремящих и кипящих радио — но все же не вытеснил Нью - Йорк одесской Молдаванки и галицийской грязи, еще не победила Америка гомельской толкучки.

Ист - Бродвей — столица еврейского царства. Крючковатая клинопись древне еврейских значков украшает вывески и объявления; мальчишки выкликают названия еврейских газет у подножия многоэтажных редакций — ведь тираж таких газет 200 и 300 тысяч экземпляров. Тут же клубы и школы, рабочие организации и благотворительные общества, молельни и рестораны, чайные и бани. Заговоришь по английски — отвечают на жаргоне — и повсюду кучки — спорят, сговариваются, продают или собираются купить. Высится двенадцати этажный дом «Форверда», еврейской социалистической газеты, распространяющейся в нескольких сотнях тысяч экземпляров. В ее здании, в котором даже надписи на подъемных машинах — на древне еврейском языке — десятки журналов, издательств союзов, учреждений, начиная от медицинских кабинетов и кончая погребальным братством. Здесь главный редактор газеты, Каган говорил мне «вы собираетесь читать лекции на английском, русском, итальянском, французском, немецком, чешском языках — это очень хорошо, но вы ведь не знаете главного в Америке после английского языка, еврейского». Впрочем редактора «Форверда» пишут по еврейски, а их дети, вероятно, разговаривают дома по английски и читают американские газеты.

По узким, невообразимо грязным улочкам, пробираешься к Эллен и Орчерд стрит. Входы в закопченные дома зияют страшным оскалом. Старухи в платках и чепцах, из под которых выбиваются волосы париков, бранят ребятишек или судачат в тени железных столбов воздушной дороги. В подвалах сгорбленные ремесленники шьют мешки и починяют чемоданы. У бесчисленных лотков, отделенных друг от друга кучами сора, об'едков и шелухи, торгуют рыбой и зеленью. Юркий молодец в клетчатом сюртучишке и красных носках на птичьих ножках уверяет десяток прохожих в необыкновенных качествах клея для посуды и резины для жеванья. В угловой лавочке старик с гноящимися глазами продает часы и запонки, перочинные ножи и домашнюю утварь. Рыжеволосая стриженная внучка помогает ему. У магазина портняжеских принадлежностей, размахивая руками, кричит кучка торговцев; длиннолицый еврей с потухшим взглядом, в пальто с вылезшим каракулевым воротником робко спрашивает адрес ночлежки в Бауери. Двое потрепанных юношей в кепках, вобрав голову в худые плечи, толкуются в нерешительности у окна молочной, в которой зловеще зеленеют несвежие пирожки и рубленое яйцо с селедкой. Пахнет кожей, людьми, рыбой и сыростью. Вдали, над сетью проводов, за черными виадуками, малиновыми огнями дрожит реклама еврейского шикар-ного отеля. Он расположен на тех улицах, где новее дома, чище подвалы, где шумная толпа у входа в кинематограф, в котором дают «Бен Гура» и у театра, ставящего пьесу Шолома Аша.

По соседству итальянский квартал, десятки улиц, заселенных выходцами из Сицилии и Тосканы, из Лигурии и Ломбардии. Здесь рестораны, где в чайных чашках тайно подают кианти и орвието. В маленьких кофейнях под названием Spaghetti Hous молодые люди в широко-полых шляпах с таким пылом спорят о качествах голоса тенора Джильи, что кажется — неизбежна поножовщина или по крайней мере драка. И непривычный посетитель, проглатывая макароны, с удивлением увидит, что никакой

драки — все друзья, хоть и кричат как при убийстве, и разойдутся мирно. Черноглазые женщины в шалях развешивают белье перед окнами. Смуглые ребятишки радостным воплем провожают жестянки с оливковым маслом, привезенные на грузовике в ближнюю лавочку. На десятой улице пахнет чесноком и плодами. Афиши на стенах возвещают о собрании масонской ложи «Сынов Италии», о смерти коммендаторе, кавалера и отца многочисленного семейства, о митинге против Муссолини, о гастролях Грассо и «Сельской чести» в театре на 14-ой улице. В книжных магазинах продают анархическую литературу, разноцветные брошюры о лучших способах выиграть в лотерею и заманчивые романы Сальгари и Гвидо да Верона или порнографические книжки «научного» стиля. В бесчисленных парикмахерских, под портретами Мадзини и Гарибальди, граммофоны с кашлем поют неаполитанские арии. Кучка сицилианцев у порога дома обсуждает какое то, по всем видимостям ночное дело. Католический священник проходя мимо, благословляет этих верных своих прихожан. Работницы, возвращаясь домой, отвечают на шутки выскочивших приказчиков. К редакции анти - фашистского «Нуово Мондо» рысью бежит запоздавший репортер: его увидели, и стоя на крыльце, кричит ему метранпаж «Эй, Беппино, поскорее». А из раскрытых окон кабачка в весенний вечер несется перебор струн, нежная песня, женский смех.

Рядом с итальянским городом — живут венгры. Выше, к северу, возле Гусова дома и Европейского банка — чехи, тут же по близости — поляки.

На 14-ой улице встречаются все: евреи, итальянцы, русские, поляки. 14 улица соединяет восточный город с Городом вообще. Это путь из «задворков» в центр. Это мост с богатого Запада, из великолепной Америки к бедному, клокочущему Востоку. Недаром в центре ее Юнион Сквер — площадь единения, и рядом со статуей Вашингтона - Лафайетт, рядом с американцем — француз. Бронзовый Линкольн благосклонно взирает на человеческий муравейник у своих ног, точно повторяя собственные слова: «With ma-

rice towards none, with charity for all» (ни против кого со злобой, ко всем с милостью). Под сенью благостного Законодателя толпы разноязычных мужчин и женщин текут к роскошным магазинам пятого авеню, к театрам центра или возвращаются на восток, в край бедноты, — там дешевые кинематографы, там, рядом со старинным тёмно-кирпичным зданием Таммани Холла с индейским тигрмо на гербе, Музыкальная Академия, видевшая первые триумфы Аделины Патти. Здесь некогда был центр Нью-Йоркской муниципальной жизни, отсюда шли приказы партии, находившейся у власти, и Таммани Холл мобилизовывал своих сторонников из безчисленных обитателей Ист Сайда, щедро пуская в ход подкупы и угрозы. А сейчас в Академии дансинг, а подле Таммани Холла «Бурлеск», как называют в Америке театры, где под одобрительный гогот мужчинами заполненного зала полуголые женщины пляшут невообразимые танцы. Тут же рестораны, и заманчивые кафетерии, где каждый сам себе прислуживает, где бросают пять и десять центов в отверстия автоматов, где тысячи людей пожирают у стоек и столиков мороженное, салаты из яблок с орехами и майонезом, пироги на сале, именуемые «пай» и прочие прелести американской кухни.

Небоскребы замкнули Юнион Сквер со всех сторон. По вечерам они молчаливыми скалами стерегут покой и мрак сквера, подле которого плещет и шумит расцвеченная, многоголосая 14-ая улица. С каждого угла ее несутся простуженные призывы радио и рупоров, завывает музыка дансингов, немолчно дребезжат звонки кинематографов, возвещая о начале нового сеанса; тысячи людей глядят на витрины, покупают сладости у торговцев, пьют сиропы и шоколады в аптеках, слушают приказчиков, расхваливающих товары у входа в магазины. Ветер играет полотнищами плакатов: «последняя распродажа, по случаю отъезда, после пожара, новая постройка». Легковые верят, скептики проходят мимо. До поздней ночи сверкают огни за витринами с фальшивыми бриллиантами и жемчужными запонками, с золотыми часами и серебряными ложками.

А кварталом выше, там, где скромнее огни и дешевле цены, где разносчики у трамвайных остановок продают коммунистические листки на еврейском, литовском, итальянском, русском, на всех языках мира, — там, где однажды слышал я Интернационал из двух грамофонных пастей разом, — там мальчишки в полосатых куртках и рабочие в каскетках наслаждаются одноцентовыми радостями «Водевиля».

«Водевиль» нечто в роде ярмарочного балагана, расположенного в пассаже. Здесь «за малые деньги можно получить большое удовольствие», как некогда уверяли почтеннейшую публику зазыватели на базарах. Нет дамы с бородой и женщины с рыбьим хвостом (это можно видеть в другом месте Ист Сайда), но зато не мало других соблазнов. В окно игрушечного домика, жадно поглощающего одноцентовую монету, можно увидеть комнату и постель, а над этими символами супружеского счастья дату и слова: *very well, very bad* — очень хорошо или очень дурно — непреложное предсказание о времени и судьбах вашего будущего брака. Мистическое зеркало за ту же скромную цену отвечает на всевозможные вопросы — и я с удовлетворением узнал, что никогда не выеду из дому и не буду путешествовать. Но механическая хиромантка тут же обещала мне хорошую погоду при возвращении в Европу. А немного дальше, индианка раскидывает карты, игрушечный астролог составляет гороскопы, в маленьком кино — раздетые красавицы именующиеся парижскими моделями, снимают чулки и рубашки с неизменного разрешения нью-йоркской цензуры, автомат продает открытки — атлеты, фильмовые звезды и девицы в купальных костюмах — имизаполняют себе об'емистые карманы молодые люди серьезного вида. Трещат выстрелы в тире, маленькая лебедка набирает горох для поучения юношества, спортсмены сжимают на силометре руку дяди Сама или терпят электрические удары с геройской безчувственностью. Прижав руками грамофонные наушники, разноцветные девицы и пожилые рабочие слушают «Тоску» и негритянские шансонетки.

Четырнадцатая улица, да еще два - три авеню и улицы — международные артерии Ист - Сайда. Это его парадный под'езд. С 14-ой улицы путь на Запад, к ослепительному Бродвею, к сердцу Нью - Йорка — Таймс Скверу, к исполинским ущельям богатейшей 42 улицы. Это выход в Америку, авангард Ист Сайда, его вершина. А его нисхождение, его аррьергард — это Бауери. Ист - Сайд задворки Нью - Йорка. Бауери задворки Ист-Сайда.

Сотни тысяч, даже миллионы обитателей Ист - Сайда проходят страшное испытание борьбы, труда и горя. Это искус Америки. В ней надо начать с нищеты, с тяжелой работы и дикой войны за себя против всех. И в этой войне хуже всего пришлось эмигрантам, тем, кто заполнил этот нижний город с его старыми зловонными домами на европейский лад, с его кишашею толпою, и беспощадной бедностью: бедность в Америке означает несчастье или крайнюю молодость. Ист - Сайд был огромным человеческим резервуаром. Это он посылал тех, кто рыл канавы, сверлил землю и скалы для подземной дороги, возводил дома и мосты, грузил тюки и выгробал снег. Эмигранты и негры — армия низшего физического труда в Америке.

Большинство этих евреев, итальянцев, славян, греков сумело обезпечить себе кусок хлеба. Сильным удалось выбиться, многим разбогатеть. Почти все оказались сыты: этого достаточно на европейский взгляд, этого мало на американский. Ист - Сайд растекся, разлился по всему городу. И в центре и в восточной части Нью - Йорка — все чистильщики сапог — итальянцы, все парикмахеры греки и сирийцы, кондиторы — турки, и портные и меховщики евреи. В восточном городе магазины писчебумажных и конторских принадлежностей все еврейские. Эти профессии меняются, но сейчас известно, что союз портных — огромная в Нью - Йорке ассоциация, потому что Нью-Йорк поставляет Америке миллионы пар готового платья — заполнен евреями, что союз башмачников — итальянское царство. И обитатели Ист - Сайда выходят за пределы своих прежних национальных поселений. Они входят в общую жизнь, они постепенно американизуются, они

завладевают не задворками только, но и городом. Непрестанно питает Ист - Сайд эти ручьи и целые реки, текущие далее, в центр и на Запад, в Бруклин и Бронкс. И уже в других частях Нью - Йорка, образуются малые колонии, снова возникают кварталы иностранцев — иной раз богатых, как на Риверсайд Драйв, иной раз победнее, как в Бронксе, иной раз и вовсе нищих, как те кварталы Бронксвилля — деревянные хибарки, немощенные улицы, захудалая деревня, фабричные строения и тоска окраины — в которых живут русские рабочие.

Но Ист - Сайд знает не только тех, кто чего - нибудь добился — на его шумных улицах или во вне их. Он хорошо знает и неудачников, тех, кого не приняла жизнь. А ее закон беспощаден за океаном — упавшего затопчут незрячие легионы, идущие на борьбу за доллар.

Есть особый тип эмигрантов неудачников. Их измолочила жизнь, их не прияла Америка, потому что сами они не могли ее приять. Они не могли и не захотели приспособиться к ее бешеному темпу, к ее поглощению человека работой, к ее механизации труда и бытия, к ее культуре денег. Они не могли стать безличными винтиками, анонимными кирпичиками храма торговли или неизвестно для чего построенного небоскреба — и возмутились. Из их рядов вышли столь многочисленные в Америке анархисты чувства. Они возненавидели непомерное богатство Волл стрита, громады банков и контор, супер капитализм трестов, торжество рационализирующего доллара, мощь всемирной торговли, всю эту власть денег и полисменов, все это презрение к индивидууму, всю эту грандиозную, как чудовище прожорливую Америку. Против ее великолепного самомнения богатого юноши, против ее чудесной сытости, восстали они со всем пылом бедности и неудовлетворенной личности. А так как Америка не любит бесплодных мечтаний, так как на ее земле мысль тотчас же ведет к деянию — и в этом великий ее урок — то из Нью - Йоркского Ист - Сайда, из окраин Детройта, из Блу Айланд Авеню в Чикаго вышли проповедники прямого действия, и те фанатики с утомленными лицами и горящими глазами.

которые всегда готовы были вступить в ряды бомбометателей и разрушать дворцы миллиардеров и театры веселящихся богачей. Но это были самые чуткие и страстные из неудачников. Или вернее — они и стали неудачниками, потому что были чуткими и страстными. Но большинство было иное: большинство само стремилось к буржуазной сытости и гналось за долларом, за домом и автомобилем, большинство не знало других мечтаний, кроме безкрылых снов о богатстве. И не сумело обрести ни достатка, ни даже сытости.

Я помню, как весной, На Ист Сайде подобрали человека в бессознательном состоянии. Врач скорой помощи заявил, что ему тут делать нечего: человек здоров, но умирает от голода. И в госпиталь взять его отказался. И уехал. А человек — пожилой поляк — очнулся, рассказал, как искал работы, не находил, голодал, не ел шесть дней, ночевал под мостами и в парках. Полицейский на свои деньги купил ему сандвич, хлопотал, чтоб его куданибудь устроить. Но через два часа голодный умер, и несколько дней газеты обсуждали, можно ли было спасти и виноват ли безчеловечный доктор.

Конечно, это редкость — смерть от голода в самой богатой стране мира, в которой средний рабочий может жить в собственном доме из пяти шести комнат и раз'езжать на собственном же автомобиле. Налажена социальная машина помощи, благотворительности и государственных забот, и случай с поляком — исключение. Но далеко не редкость — смерть от холода или истощения, — и, быть может, легче всего пропасть человеку именно в восьми миллионном Нью - Йорке. Цена человеку — ничтожная, одну пару рук всегда нетрудно заменить другой, на смену одному двуногому придет целая толпа его голодных и покорных братьев. В Нью - Йорке триста тысяч безработных. Я видел их понурые лица, их потрепанные пиджаки с шалями вокруг шеи, когда в январе и феврале их толпы с лопатами и кирками счищали снег с мостовых Нью - Йорка. С троттуаров снега не счищали: велика беда, если человек ногу сломает, поскользнувшись в голо-

ледицу — автомобиль дорожке человека — и люди в шарфах и зябких пальтишках в зловещем сумраке нью-йоркского утра готовили мостовые к дневному движению.

Из тех, кому нечего есть, кто поскользнулся на американской жизненной улице и уже не может встать, из неудачников, из безработных и преступников вербуются население Бауери.

Там, где сейчас скучились улочки Бауери, были некогда голландские фермы. Теперь это «дно», обиталище воров и убийц, бродяг и пьяниц, последнее прибежище для бывших людей, у которых ничего не осталось, кроме ночлежки, лохмотьев и благотворительного супа в сильные морозы.

Я пришел в Бауери из Китайского города — из этих маленьких извилистых переулков и закоулков, где у входа в чайные, расписанные киноварью, качаются бумажные фонари с драконами, где гортанно каркая, выкрикивают торговцы рыбой, рисом и зеленью, где безпрестанно поклоны черных халатов, где машут веерами раскосые женщины. Там, в маленьких домах с галереями и деревянными надстройками — глухая, замкнутая жизнь — свои обычаи и преступления, свои курильни опиума и публичные дома, свои богачи и убийцы. Там политические споры неизменно кончаются поножовщиной, и кружки молодых националистов, собираются, чтобы выслушать гонцов от генералов, в узких комнатах, украшенных лентами, надписями из Конфуция и каменными изваяниями страшных богов. А на черных подушках курилен, у тусклых лампочек, у которых, треща, округляется горошина опиума, возлежит бок о бок члены тайных сект и разбойничьих шаек.

Не только географически близок китайский город Бауери: между ними постоянная связь преступлений и пороков.

О китайском городе ходят дурные слухи. В них много фантастики: подземные ходы, загадочные исчезновения, страшные пытки. Обычно европейцу трудно, почти невозможно проникнуть за стены китайских домов — но разве не в этих чайных с лакированными столиками, разве не в

этих курильнях с цыновками и подушками скрываются иной раз от преследований белолицые обитатели Бауери?

А в Бауери — куда иностранцам не рекомендуется ходить без надежного спутника — не только нью-йоркские апаши, не только портовые рабочие и матросы в голландках. Здесь какие-то старики с трясущимися посинелыми руками — эти руки слишком много работали и ничего не скопили; оборванцы с выцветшими глазами, не шевелясь, вливают тепло обжорки: запас на всю ночь. Счастливы за пять центов получают чашку горячего кофе: его несут к столу, стиснув зубы, не моргая, его пьют опасно — чтоб не разлить ни капли. В маленьких барах, куда не любит заглядывать полиция, мрачные молодцы пьют контрабандное виски, убийственно оглядывая входящих незнакомцев в приличной одежде. Некрашенные девицы хрипло соблазняют мужчин, испытующим взором осматривающих товар.

В местном «Водевиле» унылая кассирша собирает центы с очередных кутил. Вспыхивает и потухает реклама отеля: за несколько центов шесть джентельменов могут найти там ночное отдохновение в трех постелях. Рядом ночлежка, в которой кружки для воды, во избежание кражи, прикованы цепью к умывальнику.

Сюда выбрасывает Нью-Йоркское море обломки крушения — негодный человеческий материал, отработанные руки, жизненных калек, обреченных на медленную смерть или тюрьму.

В Бауери обсуждаются все планы убийств и ограблений. Отсюда выезжают бандиты для налетов. В здешних трущобах держат похищенных в надежде на богатый выкуп. И обитателям Бауери прекрасно известно большинство из тех, кто кончает свое существование на виселице или электрическом стуле.

Пройдут года, и Бауери будет разрушено, — ранее, чем уничтожат ужасающие трущобы Лондонского Уайтчепеля. Оно погибнет, как и весь Ист-Сайд, этот остров старой Европы на земле Нового Света. Но покамест — еще зияют, как норы, дома Бауери, еще кишит нищетой и го-

рем старый Ист - Сайд, и с облегчением покидаешь его разноплеменные, его единые кварталы. Уже позади и китайский, и еврейский, и итальянский город, уже исчезли ночлежки «преисподней»: автомобиль несет к сияющим улицам Нью - Йоркского центра, где исполинской стражей вырастают башни небоскребов и стройные линии проспектов — уже далее европейский, азиатский, бедный и безумный Ист - Сайд. В своем великолёпии и сверкании, размеренный и неудержимый охватывает меня американский Город.

НЬЮ — ИОРК

Если бы мне пришлось жить в Америке, я не поселился бы ни в неудержимо растущем Чикаго, ни в скучно-сонной Филадельфии, ни в умном Бостоне. Я выбрал бы все же Нью-Йорк. Да Нью-Йорк обращен к Европе, не менее, чем к Америке, да, его обитатели — заокеанские выходцы, а кровные янки тонут в разноязычно - иностранном море Ист - Сайда, в этих на версты тянущихся кварталах — итальянском, еврейском, польском, китайском и многих, многих других. Но нигде, как в Нью - Йорке, не чувствуется так остро **результат** Америки, вся мощь ее молодости, весь размах ее воли, вся дисциплина ее разума.

Сама Америка — результат. Результат скрещения рас и народов, результат борьбы с природой и туземцами. Сюда убегали религиозные сектанты 17 века, сюда приплывали отважные мореплаватели и авантюристы в 18 - м, здесь находили себе прибежище после 48-го и иных бурных лет революционеры Германии, Франции и Италии. Упорство своих верований, весь пыл несбывшихся мечтаний обращали они на возделывания полей, на вырубку лесов на работу на этой девственной земле, которая могла бы дать место 700 миллионам человеческих существ. Под этими небесами, требовавшими жестокого труда и мужества, пионеры и колонизаторы, пуритане и революционеры, в смешений кровей и усилий, одушевленные общим

творчеством новой своей жизни, создали особую разновидность европейца, называемую американцем: мускулы и разум, движение и дерзость, бодрое приятие бытия и страсть к преодолению.

Хозяева жизни, они всех, кого присылала Европа, обращали либо в своих слуг, либо в компаньонов. Они оставляли им их язык и храмы, при условии, что новые пришельцы в труде становились американцами, что они усиливая своих рук и умов вкладывали в постройку того Вавилонского Капища, которое зовется американской цивилизацией.

И Нью - Йорк это то, чего достигла Америка, самый показательный город в свете, высшее проявление американского духа, быть может порою подчеркнутого, искаженного в своей усилённости — потому что строили и расширяли его не истые американцы — а ведь нет больших американских патриотов чем американизированные иностранцы.

На узком, скалистом острове Мангаттане — 13 миль в длину, две в ширину, за десяток долларов некогда отдали индейцы негодный клочок земли — за одно столетие вырос величайший город мира — тот сверх город, поэмы о котором для европейской поэзии — горячечный бред.

Если подняться на 59 этаж Волвортсова храма торговли, с круглого балкона его башни можно окинуть взором все прилегающие к Нью - Йорку городки и поселки: 10 миллионов живет на этом огромном пространстве. Тысячи кораблей входят в главный порт американской метрополии. Безчисленные катеры, моторные лодки и пароходы движутся по реке Гудзону и по океану, и тысячи линий железных дорог вытягиваются лучами, пучками рельс — во все стороны — из подземных вокзалов.

Нью-Йорк, прежде всего, город торговли, транспорта, товаров, ввозимых в него, чтобы перегрузиться на отплывающие корабли. Чикаго шлет ему свои мясные консервы, Флорида и Калифорния — плоды, Канзас и Айова — маис и хлеб, Пенсильвания — уголь и железо. Со всех концов плодovitой и рабочей Америки сюда доставляют дары

земли и изделия рук, которые будут затем разосланы во все страны мира. И отсюда же повезут поезда и баржи то, немногое, что возьмет Америка из Европы, Азии или Африки.

Вокруг Нью - Йорка много фабрик, но они работают на Нью - Йорк: ведь он сам — огромный рынок, пожирающий столько же продуктов и изделий, сколько любое европейское государство с тридцатимиллионным населением. Из десяти миллионов его жителей половина работает для того, чтобы другая половина могла жить, работать, и есть, и веселиться.

Миллионы заняты тем, чтобы изо всех сил, с величайшим напряжением поддерживать ни на секунду непрекращающийся бег всего того сложного механизма, который гонит деньги, управляет трудом, организует людей и переделывает лицо земли.

В Нью - Йорк сходятся все провода гигантской сети, протянутой американцами не только над Штатами, но и над всем миром. Здесь аккумуляторы энергии, приводящей в движение европейские банки и южно - американские рудники, нефтяные промыслы Малой Азии и пароходные компании Скандинавии.

В каждом небоскребе — тысячи клеточек и людских загоронок. Они не для жилья. Все это конторы и канцелярии, штабы армий, солдаты которой находятся где -нибудь за тысячи верст отсюда. Вот здания Стандарт Ойл Компани, той самой, которая до войны держала в своих руках 90% мировой добычи нефти. Ежеутренне поступают сюда телеграфные донесения с нефтеносных островов Малайского архипелага, из Баку и Шанхая, из Мексики и Венецуелы — со всех уголков нашей планеты, в которых имеется хоть один нефтяной колодец. Отсюда отправляются экспедиции для исследования и открытий — на Суматру и в Австралию, в Сирию и Италию. Ученые дают свои заключения биржевикам, финансисты обдумывают планы дипломатических кампаний или решают судьбы войны и мира. Это не преувеличение: Стандарт Ойл Компани имеет своих дипломатических представителей во всех стра-

нах, и именно из ее кабинетов некогда последовало решение вызвать войну в Мексике, куда забралась главные керосиновые соперники — англичане. Из Нью - Йорка отправлялись ружья генералу Карранце, когда Лондон начал посылать их генералу Вилла. Исследователи и торговцы, тонкие политики и опытные организаторы — составляют командный состав этого подлинного государства. А вот Центральный Комитет стального треста, во главе которого стоит 80 летний Гери, по прежнему работающий с 8 часов утра в двадцати этажном здании, из которого не только управляют всей добычей железа в Пенсильвании и Индиане, но и борются за гегемонию над миром. Из небоскреба угольного треста руководят работой 620 тысяч американских шахтеров, добывающих 40% всего мирового угля. Из этого узкого дома около 42-ой улицы регулируют цены на шелк на европейской бирже, а в этом чудовищном строении, напоминающем египетскую пирамиду, обсуждают проект нового изобретения, которое выбросит на улицу тысячи рабочих, уничтожит сотни мелких предприятий и соорудит особый тип машины: ее заменит через два года какая нибудь иная исхищренная выдумка.

А вот знаменитый Волвортс билдинг, построенный в виде готического собора: маленький приказчик, ставший миллиардером пожелал оставить потомству памятник своего чудесного восхождения по лестнице человеческого благополучия и посвятил каменную благодарность тому божеству, которое превратило его в короля денег и товаров.

Надо отойти квартала на два, чтоб лучше разглядеть здание Волвортса. Я любил смотреть на него с Парк Плейс, маленькой площади, со сквером, в котором не растут деревья и не поют птицы. Тут чудом сохранились реликвии, которых вообще не жалуют непочтительные к истории обитатели колумбовой земли: для чего нам предки, мы сами предки —могут сказать они с гордостью наполеоновских маршалов.

Скромно приютился маленький пятиэтажный Сити Холл (первое городское управление Нью - Йорка), со сво-

ими дорическими колоннами и широкой наружной лестницей, восхищавшей американцев сто лет тому назад. Напротив торговые ряды — тоже очень древние карлики в шесть этажей ростом, возрастом в пятьдесят лет. А с боков вырастают, напирают, презрительно бросая гигантскую тень на приземистых старичков многоэтажные строения, каменная молодежь последнего десятилетия. Величаво высятся, точно портики гигантов, полукругом идущие стены двадцатиэтажного нового Сити Холла, дымит трубами серая громада в 30 этажей наискось от него, — но все эти великаны кажутся такими маленькими, когда посмотришь на 58 этажей храма торговли с его пятью тысячами окон, выходящих на три улицы, с его башней, закрытой набежавшим облаком, с его колонками, розетками и украшениями, в свете солнца превращающимися из мраморных в розово картонные.

Через девять входов в Волвортсов дом входят 35 тысяч человек, которые считаются его ежедневными посетителями. Двадцать пять под'емных машин перевозят 14 тысяч служащих в пять тысяч канцелярий, взлетая в одну минуту до 53 этажа или спускаясь вниз, в подземные помещения, где — две станции электрической железной дороги, пять тысяч банковских сейфов, рестораны, город магазинов и служб. Сорок тысяч человек ездит по «вертикальной железной дороге», по великолепным Волвортсовским под'емным машинам. Три тысячи телефонов обслуживают храм торговли. Двенадцать специальных почтальонов приносят те 150.000 писем, которые получают в доме, и 27 раз на день выгружают его почтовые ящики. Тут же — собственные телеграфные аппараты, радио и электрическая станция, могущая обслужить город с пятидесятитысячным населением. Триста рабочих в подземных этажах, многочисленная администрация наверху — все заняты поддержанием порядка, чистоты, тепла и света в Волвортсовском здании — и их соединенными усилиями приводится в движение и без перебоев вертится маховое колесо Волвортских буден и чудес; благодаря его мерным взмахам за стеклянными перегородками, в деревянных

клеточках кабинетов и контор, распоряжаются директора, вычисляют на счетных машинах бухгалтеры и вихрем носятся подначальные.

Все правления банков, акционерных компаний, трестов и синдикатов, весь мозг американской промышленности, торговли и финансов засели в химерических строениях скалистого Мангаттана — и весь Нью - Йорк, точно одна исполинская контора и деловой кабинет. Нью-Йорк не производитель, а управитель. Он приказывает, организывает, и он же получает прибыли и терпит удары биржевых бурь. Он торгует деньгами и трудом, арендует науку и ум, производит политические наступления и банковские завоевания. Здесь вожди индустрии и магнаты капитала в огромности своих дел, потерявшие даже сознание личной выгоды, поглощенные умственной страстью организации и накопления, сложнейшей игрой астрономических цифр и переплетающихся интересов, командуют многомиллионными войсками людей и монет.

И для того, чтобы наилучших результатов достигало это управление и распределение, для того, чтобы безпроигрышной оказывалась игра, чтобы множилось богатство вещей и денег — отчетливая работа разума, рационализация, доведенная до безумия: ведь логика и математика всегда достигают сверх человеческого, и самые точные вычисления об отдаленности звезд — с ума сводящая фантастика. Фантастика и в здешних масштабах астрономических, в дерзости безграничной. Докажите, что ваше изобретение, предложение, проект — полезен, дает конкретные результаты, — и десяток гладко выбритых стариков будет обсуждать расходы по экспедиции на Венеру — будущую колонию земли. А телефон между Лондоном и Америкой или создание искусственных островов на океане в качестве станций для дирижаблей, летающих от Гамбурга до Нью - Йорка, или выпуск двух миллионов аэропланов для частного пользования и для разрешения проблемы движения в крупных городских центрах — совсем пустяк, детские игрушки. Все возможно, предел не поставлен, открыты все пути изобретательности и смело-

сти, использованы все ресурсы знания, таланта, науки, прозрения. Погоня за долларом, стремление к стяжанию, нагромождение богатств, борьба трестов и миллиардеров — вся низменная алчба честолюбий и корысти приобретает пламень страсти, становится романтикой, доходящей, до головокружительной отвлеченности, до подлинного пафоса и гордости. Все в неудержимом движении — расчерченном циркулем, по строгим линиям, по законам неукоснительным.

Нью - Йорк — город этого движения. Быстрота, точность, целесообразность — правила движения, и в одном ритме живут потоки нью - йоркских толп, бешенный бег электрических поездов, взлет зданий, нисхождение подземелий, усилия воли и пульсирование мысли. И только один темп известен дирижерскому смычку, управляющему этим движением — максимальный.

Все — до пределов, до исчерпания, до отдачи, — так, чтоб до изнеможения работал мускул, чтоб до смертного разрыва билось сердце, чтоб до облаков возносилось строение, до бесконечно малого дошел бухгалтерский расчет до цифр непредставляемых — богатство.

Всегда, во всем — максимум, и, прежде всего максимум количества, веса, числа. Быть может это линия наименьшего сопротивления, самая легкая максимальность в мире. Но по этой линии пройдено — до конца.

— И вот создан город: 10 миллионов существ в нем и вокруг него, в его пламенной орбите, двадцати этажный дом вырастает на пустыре в два месяца, восемьсот тысяч автомобилей летят по безымянным улицам — вместо имен номера: первая, сотая, двухсотая; три с половиной миллиона в день перевозятся по электрическим дорогам под землей и водой, десять миллионов писем обращается в почтовых учреждениях. И все — самое высокое, самое большое, самое богатое, самое быстрое, самое усовершенствованное. Повсюду — безраздельно — превосходная степень. Сравнительная отброшена за бедностью — здесь не любят нищенков. Все помыслы и усилия — самый высокий дом, самый длинный мост, самый денежный банк.

И Нью - Йорк — самый населенный, самый могущественный, самый замечательный город. В будущем население его должно дойти до 30 миллионов. Американцы хотят сделать Мангаттан столицей мира.

Не только мечта о грандиозном дана была новому Свету, но и величие ее выполнения, исполинский апофеоз труда и дерзания. Дерзания, потому что огромен замысел, и тот, кто захотел это сделать, был дерзким зодчим, был смелым архитектором.

Прежде, всего внешне. Пирамиды поражают менее Нью - Йорка. Этот город подавляет и оглушает. В его громаде теряешь чувство реальности. Столица банкиров и небоскребов кажется порою самым фантастическим городом света.

Таким увидел я Нью - Йорк впервые, в морозный январский вечер, после мрака и безмолвия океана. Вдруг, в грохоте и суете гавани, открылись его сказочные огни, повторенные отражениями снега и льда. В прозрачном воздухе холодного вечера, на дальней высоте переливами сверкания выступали башни, колонны и купола, залитые белыми лучами прожекторов, осененные разноцветной игрой искр, какие - то невиданные строения лучились сотнями окон; вспыхивали, двигались, погасали, слова и картины реклам —, и небо дрожало, полыхалось заревом. и таким блеском, таким торжеством сияли дворцы и башни, такие фантастические очертания каменных громад бороздили снежные тучи, проплывавшие в лунном озарении с черного Запада, что нереальным показался этот какой - то прозрачный светом опоясанный и источающийся город.

Уезжал я из Нью - Йорка днем, летом. Я только что проехал по его улицам, мимо уже знакомых и привычных зданий. И все же, когда отчалил пароход, медленно проходя мимо Эллис Айланда, мимо Статуи Свободы к выходу в океан, — точно повисшее в воздухе видения начали уходить в светлую дымку июньского полудня Нью - Йоркские пирамиды: белый мрамор Волвортса, темно красные кирпичные груды исполинского Гудзон Терминала, острая

башня 49 этажного Зингера, восславляющего швейную машину, четырехугольные скалы 38 этажного Эквитебль Билдинга, прочного, как возведшее его страховое сщество. Точно циклопы взгромоздили на берегу эти непомерные химеры гордости, эти мечты камня и железа — замыкаемые на горизонте новыми великанами, башнями, громадами — в свинцовой короне дыма и солнца.

И в самом Нью - Йорке испытывал я не раз то же ощущение нереальности — особенно в тех его местах, где улицы, — ущелья, сдавленные 40 этажными отвесами банков и контор. Давит своей тяжестью финансовый центр Нью - Йорка, Волл стрит — Вий строил эти жуткие сооружения, из которых, вместо одноглазых Полифемов, выбегают муравьями проворные их возведшие двуногие звери. Кажется, что они не создание человеческое — такой может быть только природа; эти дома — горы, отшлифованные, пробуравленные людьми. Здесь никогда нет солнца, его закрыл камень пароходных обществ, страховых компаний и банков. Отсюда вышли те 25 миллиардов долларов, которые Америка ссудила миру, здесь пляска миллионов, и за греческими колоннами банков - катастрофы и вознесения, чортова качель жадности и азарта. И точно подгоняемые бичами — толпы в ущельях улиц, — как поток в стремнине — лет безудержный и гул бури.

Есть дома, идущие уступами, башня на башне, все меньше, все выше: с двадцатого этажа суживаются кверху, словно исполинский конус: такими представлял я себе сады Семирамиды или храм Ваала. И вообще только сравнение с древностью, с Вавилоном, с термами Каракаллы приходит на ум: та же каменная неизмеримость, размах титанический. Европейская современность не знает ничего подобного Нью Йорку, это мир особый, сон футуристический.

Я любил в Нью Йорке еще угол 42 улицы и Пятого Авеню. Здесь ежедневно проходит 200.000 прохожих и 30 тысяч автомобилей — вдвое больше того количества, которым обладает вся Россия.

Поворачивается зеленый или красный диск на сигналь-

ной бишне: застывает, шумя и пыхтя, дрожа, как нетерпеливый зверь, автомобильная стая — и между двойной угрозы машин ринулась тысячная толпа. Новый сигнал — остановились стеною люди — обрушилась автомобильная лавина.

С одной стороны огромное в греческом стиле здание Нью - Йоркской Публичной библиотеки — здесь хранится три миллиона книг; за прошлый год прибавилось новых 500 тысяч читателей в мраморных залах. Дальше 26 этажей Отеля Коммодор — розоватый мрамор, зеркальные окна, никаких украшений по гладкому фасаду — и между небоскребов — гигантская центральная станция, Grand Central. 30 тысяч человек могут разместиться в помещениях Гран Сентрала, 200 поездов с 70 тысячами пассажиров ежечасно вылетают по ее 67 путям, из коих большинство под землей, под грохочущими улицами и сверхестественными домами.

С террасы Гран Сентрала, если смотреть вниз по 42-ой улице — строящиеся здания, вдали уступы новых домов, трансформаторы на крышах небоскребов, какой то хаос проводов, машин и линий в вышине — и оглушительный грохот движения, такой, что уже не различаешь звуков и не слышишь шума — ревом океана воеет городская буря. А вечером от огней светлее, чем днем, нет теней от домов, сияют театры и рестораны, соблазняют витрины, бушует цветами и переливами реклама на звездном небе — звезд не видно от фейерверка электрических искр, поющих хвалу резиновым шинам и усовершенствованным подвязкам. И нет лиц: человечья толпа — сплошным потоком в кофейные и театры; ручьями; звенящими смехом и возгласами — из кино; водопадом — к станциям подземки. А в водовороте площади — люди там не переходят, а спасаются, — острый дом Таймса, — и бешенство людей, автомобилей и огней. От электрического света — нездешние лица, какая - то бледность призрачная, и за огнями, на небесах, побежденных рекламой фильмов и конфет — замолкшие сорока - этажные видения.

Центр? Да, но таких или подобных центров множе-

ство. Проедешь десяток улиц, похожих друг на друга, точно одна другую копировала в точности, — темнее, тише, меньше людей, света, автомобилей, только лампы в окнах шестнадцатизэтажных коробок, служащих для жилья — и опять сверк и блеск, грохот толпы, и так снова и снова, двадцать раз на протяжении десятков верст, — и по всей длине Бродвея, и в Бруклине, и в Бронксе.

Эти центры, улицы, дома одинаковы — над всем великая американская **одинаковость**. Ведь все производится сериями: одежда, города, ходячие идеи для массового употребления. Все рассчитано на много миллионного покупателя, читателя, зрителя. По данному плану, как по модной картинке, выбрасывается на рынок 500 тысяч безупречно схожих шляп. В один прекрасный день все, как по команде, насадят их себе на голову. Сразу строится тысяча домов — точно из одной формы вылиты — и в них тысячи людей. Не отличишь одного от другого, на первый взгляд меньше разницы, чем в шляпах: та же работа в конторе, та же резина во рту после обеда, с той же вечеркой столкнутся у входа в один из десятков кинематографов, все равно у какого, ведь одинаковую фильму дают во всех этих театрах, принадлежащих какому нибудь тресту. Поговоришь с ними — одинаковые слова, схожие мысли, все наполнены одной той же духовною начинкою: не только продукты для массового потребления знает Америка, но и массовое производство умственного штампа, выбрасывание на рынок крепких человеческих серий, в которых выучка, пресса и общая нивеллизация раз установленного строя исправила или уничтожила досадные отличия безпокойной оригинальности.

А наряду с одинаковостью — геометрия, утилитарность и механика — в форме и существе. Улицы — шахматная доска. Дома - кубы. Площади - круги. Царствуют углы и прямые линии, правильные фигуры планиметрии. Есть правда в Нью - Йорке Ист - Сайд и нижний город с лабиринтом грязных улиц, с пестротой европейской бедноты. Есть чужестранная прелесть кварталов Китая или Италии, есть рестораны сирийцев в тени Волл стрита и кабачки Гре-

ции. Но это прошлое. Оно обречено. Оно доживает свой век, и подвластно американскому закону постоянной сменны и разрушению. Америка самая расточительная страна в мире, и в ней не только горячка строителей, но и страсть разрушителей — постоянно сбрасывают в растущих городах старые дома, постоянно заменяют целые улицы, вздвигнутые вчера, широкими проспектами, которые соответствуют последнему слову техники и благоустройства. Но это последнее слово никогда не бывает последним — краткий век его два, три года, а то и меньше. И через несколько лет падет Ист Сайд от взрывов динамита; от ударов кирки и топора, и вместо цыганской многоцветностью играющих кварталов — номера, линии. Кубы, горячая вода на всех этажах, гигиенические клетушки для жилья, усовершенствованная мебель для работы, треск машинок и машин, и под землей трубы для пара, для электричества, а на крышах радиовые антенны и площадки для пассажирских авионов или зимние сады.

Эта неодинаковость и геометричность именно в Нью-Йорке еще не стала казарменностью. В других городах — да. О, эти бесконечные ряды двух этажных «жилых домов» на окраинах Филадельфии — улицы, тянущиеся на десять верст, и дом в дом, одного и того же стиля, роста, цвета — удручающее подобие, хоть плачь, — а если один урод, то уже не заметит его потухший безнадежно взор. Одно отличие: номер 5876 или номер 5877. Каждый квартал — новая сотня. Впрочем, стоит ли делать иначе — ведь и люди то одинаковы, дома им под стать.

Есть целые части Нью - Иорка — величиною в добрые европейские столицы — того же казарменного строя. Но в целом — Нью - Иорк другой. В нем смешение всех типов. В нем никакой заботы об эстетике. Никакой меры или грации. Сорок этажей тонкого острого дома утюгом вылезает между десятка сгорбленных карликов, которым место где нибудь на окраинах Неаполя. Никаких украшений, никакого почитания красоты. Ненужно и некогда.

А назвать безобразным Нью - Иорк все же нельзя. Есть в нем величие, и оно искупает безобразие и контра-

сты. Порою оно граничит с красотой. Есть в Нью - Йорке, в иных местах, очарование мощи и порыва, то, чего нельзя забыть, что унесет потрясающим воспоминанием с собою в спокойные города Европы случайный гость Нового Света.

Пленяет футуристический пейзаж Нью - Йорка и сколько раз, поворачивая с Пятого Авеню, этой великолепной выставки богатств и роскоши, в тишину Центрального Парка, сколько раз в закатный час я любовался беспорядочными и торопливыми очертаниями домов, этой динамикой линий, с их взлетами и падениями, срывами и кривыми, этой сетью проводов, этой черной фантастической стали, железных столбов, трансформаторов и мостов на розовом фоне вечеряющего неба.

Казарма — застывшее, оцепенелость. А Нью - Йорк в росте, в непрерывной стройке. Он вечно обновляется. Уверен, — приеду через пять лет, и не узнаю улицы, на которой жил, — ведь даже за десять недель, что я отсутствовал из Нью - Йорка и ездил по стране, успели построить на ней три новых дома. Не узнаю и других улиц, не встречу целых кварталов — их снесут за эти годы, их признает старыми торопливая Америка. Здесь ведь иной счет времени, чем в Европе: десять лет — старость, десять лет — да это целое столетие, перед войной — доисторический период, девятнадцатый век — древняя история, десять минут — очень много для множества дел. Хронология иная и отношение к вещам иное: нет ни любви к прошлому, ни боязни новизны, ни повышенной оценки труда. Не жалко выбросить миллионы долларов и занять сотни рабочих для здания, на разрушение которого, во имя незначительного усовершенствования, через три года опять потратя усилия сотен рук и новые миллионы. Все заново — дома, улицы, и самую жизнь. Да, да не следует преуменьшать американских горделивых замыслов: весь мир перестроить по линиям и радиусам американского рационального плана. Вильсон или Форд, дипломат или банкир — все они в конечном счете хотят реформировать человечество из Нью - Йорка и Вашингтона. У них

нет опасной грезы мессианизма — но у них есть мощь огромной промышленности и железная воля организованной, самой богатой и технически развитой в мире нации, желающей занять «самое первое» место на свете — опять превосходная степень.

И еще: в казарме повторность жеста, механика длительная. В Америке — механика и скоротечность. Все движение людей и идей, в точно рассчитанных формах, по железным рельсам — механика - прием, метод, — но от одной формы к другой не только восхождение или бег, но и резкие скачки.

Может быть, это бег на месте. Может быть, все это — суета, беличье колесо, идолопоклонство пред внешним и конкретным. Для чего эти взрывы энергии, эти легионы существ, несущихся в безумной скачке, этот иссушающий труд, вылитый в Вавилонские башни, в каменные сумасбродства, — в которых ни следа безумия — в алчбу и корысть, в торжество машин и в победу трестов. Может быть, призрачна вся эта погоня — за чем? вся эта беспощадная борьба — во имя чего? все это безмерное богатство вещей и сил природы — накопленное для какой цели?

Пожалуй, так оно и есть. Нет видимых целей этого необыкновенного ритма, кроме самого него. Нет смысла — тайного, великого — в этой новой цивилизации, которая грозит всему миру своим разливом.

Но нигде на свете человек не обнаружил такой власти над материей, такой силы своего хотения, как здесь, на американской земле. Нигде, как в Нью - Йорке не встает с такой слепительностью ничтожество индивидуума, этой пылинки, этого бесконечно малого в море неисчислимом, — и нигде не чувствуешь так этой силы человека, этой мощи его рук и разума, этой ярости труда людских толп.

И потому пьянит Нью - Йорк. Кто вошел в его жизнь бросился в его водоворот, того охватывает волна: страсть движения и безумие быстроты.. Останавливаться нельзя, поток несет, грохот исполинского водопада оглушает, на-

полняет каким - то упоением удесятеренного бытия—и человек превращается в заряд энергии, человек, это то, что он сделал, а Город Вавилонских Капищ — точно исполинский жертвенный костер во славу неведомому богу — и с неистовым упоением безостановочно бросает в него Европа и Америка миллионы человеческого топлива.

(Продолжение следует).

Марк Слоним

Нью - Йорк, 1926, май.

Тайна посмертного рассказа.

(«В тюрьме» Б. Савинкова).

Книжечка небольшого формата в белой обложке. Посредине черный квадрат — Б. В. Савинков в кресле, за письменным столом, с папироской в руке. На столе бювар с листом белой бумаги, чернильницей и преспапье. Сзади, на стене в полосатых обоях надорванная карта какой-то страны.

А над черным квадратом надпись:

Б. Савинков

В ТЮРЬМЕ

посмертный рассказ

предисловие

А. В. Луначарского

С портрета прямо на читателя смотрит Б. В. Савинков, полысевший, постаревший, с удивленно - вопросительным, недоуменно - тревожным выражением глаз, с искривившей обрюгшее лицо жалкой улыбкой, весь осевший, безпокойный, неуверенный.

Снят-ли он впрямь в тюремной комфортабельной камере, или в своем рабочем кабинете, недостатки-ли это клише, или только теперь после трагического конца видит глаз в его когда-то таком самоуверенном облике незаметные прежде черты, — впечатление от этого портрета, для хорошо знавших Савинкова, жуткое. Точно сквозь, ту же самую оболочку проступает какой-то другой человек.

Жизнь Савинкова талантливее его дел и его писаний. Его биография не только канва для романов, она сама — роман. Настоящий революционный авантурный роман большого размаха. С революцией Савинков никогда не сливался воедино. Несмотря на самые революционные акты, в которых ему приходилось принимать участие, он занимал в ней особое место, — ряд ее целей ему был чужд. К партии, к которой он когда-то принадлежал, у него было очень и очень холодное отношение. Он всегда держался от нея на расстоянии, выделяя себя в какого-то спеца от террора. Партия платила ему тою же монетой.

К моменту революции 1917 года и в самом 1917 году Савинков духовно был ближе к гостинной З. Гиппиус и Д. Мережковского, чем к партии, в рядах которой он столько раз рисковал жизнью.

1917 и последующие за ним годы окончательно оторвали Савинкова сначала от партии, а затем и от революции.

Когда рухнуло самодержавие, в борьбе против которого Савинков соединил свою судьбу с судьбой революции, разорвались и последние формальные узы, связывавшие его с ней. Вознесенный капризом революционной волны на самый гребень ея, к власти, он не захотел затем скатиться с тою же волной, в бушующую стихию. Он попробовал отделиться от своей волны и... попал в другие окончательно чуждые ему воды.

До 1917 года его несла революционная волна. С 1918 года он не был никем и ничем связан. Революция подготовила для него героическую биографию. Его значение и все его авантюры в станах белых диктаторов были возможны только при наличии этой биографии. В 1917 году он жил на проценты с революционного капитала. С 1918 года он начал растрачивать этот революционный капитал и растратил его окончательно. Это был период чистой авантюры, авантурного романа, в центре которого стоял он сам, романа, который обуславливался только им. В нем самом была завязка и развязка. Он упорно не хотел понять, что все авантюры обязательно кончатся крахом, что ожесточенная борьба Савинкова эпохи 1917 - 24 го-

да против Савинкова же времен 1904 - 17 годов безцельна, и что в этой бесплодной борьбе он не сделается героем контрреволюционным, а убьет героя революционного. Савинков должен был родиться в иную эпоху, в ту эпоху, когда герои политической авантюры могли сойти за героев *tout court*. Правда, и наше бурное время нередко выдвигает на первый план политической жизни героев авантурных романов. Но, как правило, они на этом плане долго не удерживаются. И что замечательно — чтобы «успеть», они, по большей части, должны иметь за собой революционное прошлое. Революционная биография это трамплин, с которого герои политических авантурных романов прыгают на политические вершины.

Таково революционное обаяние нашей эпохи.

Необходимо огромное чувство меры и такта, чтобы, уйдя от революции в революционный период, обратившись против нея, но сохранив страсть к романтизму, которой пронизана каждая революция, не попасть в авантюру. Ведь и в **казовой**, феерической стороне революции много от авантюры. Только фанатическая преданность поставленным революцией целям спасает революцию — дело рук человеческих — от вырождения в авантюру, а самих революционеров от превращения в героев политических авантурных романов. У Савинкова не было ни чувства такта, ни преданности целям революции. Не уйдя умом и сердцем в контр-революцию — тогда он стал-бы просто контр-революционером, — не отказавшись от революционных методов, от **казовой** стороны революционного действия, но изменив революции, он неизбежно превращался в героя авантурного романа.

Вряд-ли мы ошибемся, если скажем, что перед глазами Савинкова в последний период его активной деятельности за границей стоял образ «успешного» Муссолини, человека тоже с революционной биографией (теперь окончательно превратившегося в кровавого авантюриста, чье дело рухнет в кровь и грязь).

Но и на пути героя авантурного романа необходимо во время остановиться, чтобы не превратиться просто в

авантюриста, или, что еще хуже, «бывшего» авантюриста... Савинкову грозила эта участь. Переходя от авантюры к аванюре, он почти дошел до едва заметной черты, отделяющей героя авантюры от аванюриста.

Савинков заграничного пореволюционного периода убил прежнего Савинкова — героя. Остался хуже, чем просто Савинков, чем один из бывших революционеров, бывших министров, бывших контр - революционеров, всем и всему изменявший и всеми покинутый. Осталась та жалкая, осевшая, безпокойно - неуверенная фигура, которая глядит на нас с обложки белой книжечки...

Но судьба, развенчав революционного героя Савинкова, — руками же Савинкова, — не остановилась на главе: Бывший. Она закончила роман его жизни главой: Трагическая Смерть. Трагическая смерть — это увенчание жизни героя романа, это спасение его от прозаического и прошлого конца в, ничьего внимания не привлекающем, прозябании.

Трагическая смерть словно резкой красной чертой подчеркнула все романтическое в жизни Савинкова и возродила его снова — после смерти — к его подлинной, единственной роли, — роли героя политического авантюрного романа.

**

Как попал в руки большевиков Савинков? Как он умер? Покончил-ли сам с собой, — сам завершил роман*) своей жизни—, был - ли убит, как склонны думать некоторые, чекистами? Что вызвало его самоубийство или убийство?

Эти вопросы волновали и волнуют многих.

Тайна его смерти — убийство или самоубийство — несомненно будет раскрыта до конца. У нас нет оснований не верить в версию **самоубийства**. Все говорит именно за то, что Савинков сам прервал свое существование. Но тайну своих последних дней он, может быть, унес в могилу. Мы говорим может быть, так как не исключена воз-

*) Нам известно, что один роман о Савинкове уже написан одним французским писателем, Редакция.

возможность, что в архивах Г.П.У. хранится разгадка и этой тайны.

Но в посмертном рассказе Савинкова, «В Тюрем», на наш взгляд, есть некоторые данные, проливающие свет на тайну его последних дней, во всяком случае на тайну его последних переживаний, завершившихся трагическим концом.

В этот рассказ, написанный по словам Луначарского, незадолго до смерти, Савинков несомненно внес **автобиографические** черты. По заключению своем в тюрьму Савинков был использован большевиками в качестве составителя восхвалительных воззваний в пользу большевицкой власти, сочинителя писем к родным и знакомым, в которых он призывал тех, кому предназначались эти письма, признать большевиков, памфлетиста и обличителя всех, непризнающих благоденствий большевицкой диктатуры.

Савинкову кроме того была дана еще одна задача — **художественное** осмеяние эмиграции. Слов нет, в эмиграции не мало смешного и отталкивающего, — эмигрантскому Щедрину материала для «Эмигрантских Очерков» было бы предостаточно. Но «заказать» такие «Очерки» посаженному в тюрьму злейшему врагу большевиков, вешавшему вместе с Балаховичем большевицких комиссаров, гноившему в концентрационных лагерях **лучшие** элементы эмиграции — **ея низы**, вовлекавшиеся им на польской территории в глупо - преступные, изменнические авантюры, словом, поручить **художественное** осмеяние эмиграции строившему все свои расчеты на этой эмиграции Савинкову — до этого могли додуматься только Луначарские.

Какое в самом деле наслаждение испытывали эти господа залучившие каким-то, еще остающимся в тайне образом, в тюрьму **уже обезвреженного жизнью**, уже потерявшего значение врага, при чтении его наивно-подлаживающихся под большевиков писем, его, по грубому трафарету, наляпанных воззваний... Как должны были они весело хохотать при виде страшного самооплевания, производившегося человеком, которого они когда-то так боялись... Какая месть за этот страх!

Савинков, мечтавший об **одной** веревке, на которой можно было бы повесить **всех** большевиков, пишет в большевицкой тюрьме агитационные большевицкие листки!...

Савинков, со вкусом ненавидевший «Гришку Апфельбаума» и «Леву Бронштейна» (иначе он о них не говорил), в качестве слагателя од Гришке и Леве!...

Савинков, — кумир части эмиграции, — строчащий памфлеты, в стиле Эль д'Ора, на эту самую часть эмиграции!...

Кроме удовольствия большевики решили извлечь и пользу из писаний Савинкова. Им улыбалась мысль превратить его в пропагандиста - писателя. Чего уж убедительнее, — сидя в тюрьме пишет... Так глубоко раскаяние человека...

Однако Савинков опрокинул эти практические расчеты. Савинков - самоубийца уничтожил Савинкова большевицкого пропагандиста и свел на нет все значение перехода к большевикам.

В предисловии к «В Тюрьме» г. Луначарский так выражает большевицкое сожаление по поводу трагического конца Савинкова:

«Для меня ясно только одно. Всякий из нас не мог не быть огорченным смертью Савинкова и не потому, что нам жаль его персонально, человек тот был — не только по своим полубелогвардейским идеям последнего периода, но и по общему тону своих мирозерцаний — какого-то фанатического терроризма, а потом какого-то декадентского оплевывания своей партии, очень несимпатичен нам и чужд, а дело в том, что Савинков мог бы быть чрезвычайно полезен. Это я говорил уже в своей первой статье о Савинкове непосредственно после ареста».

«Савинков очень много видел и очень много знал. Не считая его первоклассным талантом, нельзя не признать что у него было известное беллетристическое дарование. Дарование это высказалось в довольно тонкой наблюдательности и язвительной остроумности, это очень сказало в его недавней статье о Чернове. В некоторой общей нервной чуткости, которая легко позволяет откликаться

Савинкову на все стороны событий, наконец, в довольно напряженной, местами даже захватывающей, форме его повествований. Обладая таким количеством опыта и таким недюжинным пером, Савинков, несомненно, мог оказаться одним из интереснейших летописцев перепитий борьбы революции и контр - революции».

Из приведенной цитаты ясно, что именно г. Луначарский был автором затеи использования Савинкова в качестве подневольного тюремного писателя, **художественного** обличителя всех противников большевизма. К моральному облику и умственному уровню г. Луначарского эта дикая затея подходит, как нельзя лучше. Конечно, подневольный памфлетист и обличитель своим опытом доказал абсурдность затеи Луначарского. Ничего **художественного** ни в смысле возвеличения большевиков, ни в смысле оплевания их врагов он в тюрьме не создал. Кроме памфлетов, писем и воззваний, он написал два пошлых рассказа (из опубликованных): «Последние помещики» и «Недоразумение». В этих рассказах он видимо прислуживается к большевикам.

Зато третий рассказ «В Тюрьме», что речь идет о переживания самого Савинкова, напоминает автора «Коня Бледного» и «То, чего не было». Как и в этих двух произведениях, автор «В Тюрьме» пишет именно о **том, что было**. При этом, взяв за остов правдоподобный факт, похожий на действительность и могший иметь отношение к самому автору, он вкладывает в уста героя свои, савинковские мысли, свои терзания. Написанный «незадолго до трагической смерти» этот рассказ является ценнейшим человеческим документом.

Сюжет рассказа таков. Полковник Гвоздев, боровшийся против большевиков, возвращается в Россию. «При возвращении в Россию ему обещали прощение». Но не только не простили, а посадили в тюрьму. В тюрьме большевицкий следователь пытается сделать из него предателя, требуя выдачи всех товарищей Гвоздева по организации, не только за границей, но и в России.

Савинков описывает несомненно **свой** тюремный опыт.

Гвоздеву дают отдельную камеру. Затем меняют на лучшую. Ему разрешают иметь вино, портвейн. Заходя в комнату следователя, он закуривает папиросу. Следователя он называет «товарищ». Следователь с ним изысканно вежлив, величает его по имени-отчеству. И все это происходит с человеком, которого для замаскировки Савинков изображает абсолютным ничтожеством, никого и ничего не представляющим, одним из тех глупых «белых» обывателей, о котором он говорит так:

«Начальник спрятал платок и зевнул. Дело «бывшего полковника Гвоздева» давно надоело ему. Дело было несложное. При возвращении в Россию ему обещали прощение, — значит, надо простить. Обвиняемый врал — по глупости и из страха».

У Гвоздева со следователем Яголковским происходит такой разговор:

— Вы, ведь, Василий Иванович, состояли в тайном обществе «Синий Крест»?

— Состоял.

— И, вы, кажется, заявили, что согласны указать его членов?

— Да, заявил.

— Почему же только за границей, а не в России?

— Я не предатель.

.....

— Я не предатель... — повторил полковник Гвоздев.

— Так, а вы все таки подумайте, Василий Иванович...

.....

— Я подумаю.

— Да, да, подумайте... Подумайте непременно...

Гвоздев не знает, что ему делать. Он принимается писать письмо товарищу Яголковскому. Яголковский, — да ведь это же Дзержинский...

«Он написал: «Гражданин Яголковский», но, подумав, зачеркнул «гражданин» и поставил «товарищ». «Товарищ Яголковский. Я готов умереть, но по чести и совести должен вам заявить, что никогда не буду предателем. У меня хватит гражданского мужества честно и всенародно по-

каяться в своих преступлениях: пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня. Я полагаюсь на великодушные товарищей судей. Я уверен также, что они примут во внимание мое революционное прошлое: в 1910 году, командуя сотней, я отказался стрелять в рабочих. Я прошу уволить меня от показаний, касающихся лиц, живущих в России. По чести и совести, я дать таковых не могу. 20 апреля. Василий Гвоздев».

В этом письме Гвоздева, написанном Савинковым за несколько дней до самоубийства, до самоубийства, о котором не мог не думать в эти дни автор «В тюрьме», слышен вопль человека, стремящегося снять с себя тяжелое обвинение в предательстве своих друзей в России, обвинение, высказанное многими и Савинкову известное.

Силы этого вопля не уменьшает маскирующее разъяснение автора: — «он знал, что пишет неправду. Он не был готов умереть и даже не думал о смерти».

И как поразительно похожи язык и стиль Гвоздева на язык и стиль самого Савинкова. «По чести и совести», «пусть рабоче - крестьянская власть нелицеприятно судит меня» — это ведь язык савинковских показаний на суде и стиль его возваний!

Когда Савинков писал свой рассказ, полемика с ним заграничников уже почти закончилась. Большевики давали ему читать все, что появлялось о нем в заграничной прессе, и заставляли его отвечать некоторым из находившихся за границей политическим деятелям, заранее об'являя в «Известиях» и в «Правде», что в скором времени Савинков ответит тому - то и тому - то. Савинков знал, что его уличили в том, что в одном из своих показаний или писем, он перепутал факты и лица. Дело шло о факте отказа одного из его родственников стрельбы по народу. И Гвоздев тоже знал, что «кроме того, не он отказался стрелять в рабочих, а его приятель, хорунжий Шумилин. «Ну, да Яголковский не разберет... давно это было».. сказал он себе и повеселел»..

Но Яголковский Гвоздева не выпускал. Гвоздев бомбардирует письмами Яголковского, — как это похоже на

самого Савинкова! Он убеждает большевиков в том, что совершенно отошел от белых. Он пишет заявление, так сходное по отчаянию с последним письмом самого Савинкова, быть может одновременно созревающим в его мозгу..

«В Коллегию Г. П. У. Товарищи! Одиночество для меня пытка. Делайте со мной, что хотите. Но по чести и совести заявляю, что если через трое суток я не буду освобожден, то лучше расстреляйте меня. Обращаюсь к вам с последней просьбой: мой нательный крест перешлите моему малолетнему сыну Михаилу в Берлин, 24 мая Гвоздев».

И тут же Гвоздев - Савинков говорит о Гвоздеве, что он забывал о том, что обращается к людям, которых он сам прежде расстреливал....

Яголковского вопли Гвоздева не трогали. Как не тронули вопли Савинкова Дзержинского. Яголковский «знал, что дело Гвоздева предполагается прекратить в виду того, что «Синий Крест» был никому ненужным сборищем «заштатных сенаторов», выброшенных на асфальт рижских кварталов» (— не также ли презрительно писал в то время Савинков о своей собственной, савинковской организации, о своем «Синем Кресте»? —), но, зная, все же толкал Гвоздева **на предательство**. И здесь к Гвоздеву применяется прием, который **ежедневно** применялся к Савинкову:

— Эмигранты вас ругают, а вы церемонитесь с ними, — сказал он.

Это была правда. Гвоздев знал, что его ругают, но все же спросил:

— А очень ругают?

— О, еще как....

— Ну, тогда я все расскажу....

Эти слова у него вырвались против воли. В ту же минуту он спохватился. Он даже начал: «Товарищ»...

Но тут, говорит автор, произошло совершенно неожиданное. Яголковский приготовился записывать, а полковник начал облыжно оговаривать кого попало; «он стал припоминать приятелей и знакомых — товарищей по училищу и полку. Тех, кого он встречал на фронте. Тех с кем жил за-границей. Наконец, случайных, малоизвест-

ных ему людей; судью в Киеве, учителя в Екатеринославе, священника в Туле и даже барышню из цветочного магазина, за которой он ухаживал лет восемь тому назад. Он называл имена и фамилии, изобретал конспиративные явки и выдумывал правдоподобные, легко запоминаемые пароли. Он не ограничился этим. Он в подробностях сообщил о заговоре в Москве, о «пятерках» в красных частях, о связи с «зелеными» на Кавказе, о якобы вездесущем и всемогущем «Синем Кресте», секретарем «верховного комитета» которого состоял он, полковник Гвоздев.

Как поразительно, конечно, нарочито заостренно, напоминает вторая часть показаний Гвоздева все же преувеличенные сведения, которые Савинков сообщал за границей своим высоким покровителям: Черчилям, Пилсудскому и другим, об успехах своей собственной организации. Как похоже в первой части его показаний припутывание мало знакомых лиц—ну, хотя бы судьи из Киева, с подобным же припутыванием самим Савинковым в своих показаниях ряда лиц, как, например, тогда уже покойного Клецанду и других. Но и здесь Савинков устами своего героя говорит: — я никого не предал, я припутывал только тех, кому это не могло принести вреда.

Попутно Гвоздев делает наблюдения и приходит к выводам*(совершенно, как в своих воззваниях Савинков) о созидательной мощи большевиков:

«По лестнице неуклюже, как медвежата, карабкались такие же неуклюжие часовые. Полковник Гвоздев с изумлением смотрел на их крепкие сапоги, рубахи, подсумки и пояса. «Создали армию, черт бы их взял... Пожалуй, и в самом деле не боятся Европы?»

И Савинков в своих письмах говорит о не боящейся Европы **русской** красной армии. «Но об освобождении все еще не было речи». Гвоздев ждет, волнуется. Тем временем выясняется его ложь, — все оговоры оказываются наивными, явно нелепыми, смешными. Гвоздева решают выслать в Нарым. Но он уверен, что ему предстоит расстрел. В его голове зреет план — убить бутылкой портвейна (взяв с собой ее на последний допрос) Яголковского и, воспользо-

вавшись его пропуском, бежать. В момент, когда Яголковский начинает писать постановление о высылке, Гвоздев убивает его, бежит в смятении по зданию, попадает в руки чекистов и узнает о созданном его собственным воображением недоразумении, жертвой которого он стал.

И здесь, словно для того, чтобы подчеркнуть **автобиографический** характер рассказа, Савинков заканчивает его такой вовсе невытекающей из всего повествования и из самого **типа** Гвоздева фразой:

«И только теперь он понял, что был арестован, лгал и убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем ничтожестве, в ничтожестве «Синего Креста».

Эта фраза имеет смысл только в том случае, если она относится к автору, а не к герою рассказа.

Конец рассказа поразил написавшего к рассказу предисловие г. Луначарского. Луначарский ничего не понял в рассказе. Он пытается использовать его в смысле пропаганды ненависти и презрения к эмиграции. Нерасшифрованный им Гвоздев представляется ему символом эмиграции, символом, созданным Савинковым, якобы, из «бешеной злобы» против эмиграции и белых. При чем Луначарский для убедительности говорит о Гвоздеве то, чего нет у автора. Он дорисовывает за Савинкова умственный облик Гвоздева: в нем «есть тупая инерция, обоснованная на том, что большевики - разбойники и лжецы, и тупая инертная вера в какую - то Европу, которая поможет, — и за исключением этих выдумок все остальное сплошная дыра».

Луначарский, принимая Гвоздева в серьез, видит несообразность, нелогичность, нелепость его действий. Несоответствие всего рассказа с заключительной фразой выводит его из себя.. И он преобразует Гвоздева, обманутого большевиками, в символическую фигуру.

Луначарскому и в голову не может притти, что Савинков не символическую фигуру писал, а пытался в предсмертном рассказе между строк сказать то, чего не мог сказать открыто. Ведь и Гвоздев, **по существу**, кончает самоубийством...

Луначарский понимает, что полковник Гвоздев, такой, каким нарисовал его Савинков, в природе не существует и существовать не может. Даже он его расценивает как «плод озлобленной фантазии». И тем не менее, признав его за «плод озлобленной фантазии», он этот плод превращает в символ **сотен тысяч** людей.

Савинков знал, каким надо нарисовать героя своего предсмертного рассказа для того, чтобы господа Луначарские, написав к нему соответствующее предисловие, щедро кинули в читательские массы белую книжечку, на который написано «в кол. 50.000 экз.»...

Навязав Гвоздеву символическую роль представителя всей эмиграции, Луначарский естественно не может понять — почему Савинков назвал свой рассказ «В Тюреме», а не «страшным клеймящим словом «Мразь», которое сам автор употребляет по отношению к своему герою», и которое, по мнению Луначарского, приложимо ко всей эмиграции..

Да, именно, потому, что Савинков и в самом заглавии подчеркивает центр тяжести рассказа, лежащий в переживаниях, происходящих «В Тюреме», что он описывает **свою** тюрьму! Гвоздев «В Тюреме» так же «выдуман», как и Жорж в «Коне Бледном». Жорж той эпохи, действовавший в стане революционеров, Жорж в ореоле боевой славы, вызвал безконечное возмущение в революционной среде. Уже «Конь Вороной» подводит Жоржа к последней черте, а полковник Гвоздев (нелепая фигура «выдуманная» для **замаскировки**) — **роковое**, завершающее весь круг, превращение Жоржа.

Именно потому, что Луначарский совершенно не понял **типа** Савинкова, он неспособен был понять и самой возможности трагического конца Савинкова.

«Обстоятельства, сопровождавшие самоубийство Савинкова, — пишет он, — известны мало. Быть может причины, которые он высказал при этом, играли не столь значительную роль, возможно, и какие нибудь личные моменты, которые остались, а может быть и навсегда останутся неизвестными широкой публике». Затем Луначар-

ский делает предположение, что Савинков, понявший призрачность борьбы с большевизмом, и принесший «повинную голову», «ожидал очень скорого изменения своей судьбы и предоставления ему той или иной ответственной работы». Возможно, говорит Луначарский, «что долгий срок, протекший со времени процесса, и холодная сдержанность советской власти на всякие запросы о перемене судьбы (ну, разве же это не описание отношений Гвоздев — Яголковский? Вл. Лебедев), могли привести в отчаяние этого гордого и сильного человека? В самом деле не гнить же всю жизнь в тюрьме человеку подобной активности и подобного бешеного самолюбия. Савинков мог перенести что угодно, но только не презрительное забвение: такого поворота он мог панически испугаться».

«Но, — продолжает Луначарский, — с другой стороны, Савинков был человек далеко не глупый и не без выдержки. Не может быть, чтоб он не понял всю законность недоверия к нему, не может быть, чтоб он не предполагал что со временем все может измениться и повернуться таким образом, что та или другая роль в революционном строительстве может выпасть на его долю».

Конечно, Савинков это понимал. Но он понимал то, чего не понимает Луначарский. Он понимал, что для него единственной возможностью остаться **героем**, хотя бы, политического авантюрного действия, являлась бы возможность занять место, если не Сталина, то прежнего Троцкого. Что могли предложить ему в **лучшем случае** большевики? — роль Слащева, или Хинчука, или Майсково? **Назначить** его в кооператоры, или в деятели профсоюзов? Савинков - кооператор! Ведь для него это и было бы тем, что он презрительно определял названием «отставной козы барабанщик».

Но, могут сказать, всего этого Савинков не мог не знать до перехода к большевикам? Да, не мог не знать. И вопрос о том — почему и как он перешел к большевикам — остается тайной.

Но, перейдя к большевикам и приблизившись вплотную к развязке, Луначарскому кажущейся такой заманчивой и почетной, Савинков почувствовал, что она для него обозначает переход в **прозябание**, в безповоротное превращение в «бывшего», больше того в «бывшего авантюриста», «поумневшего» и принявшегося за «созидательную работу». Его «Синий Крест», в ничтожестве которого он так долго не хотел сознаваться, оказался для него последним и роковым звеном жизни **героя** политического авантюрного действия. Впереди была скука, большевистская «обывательщина», развенчание.

**
*

Еще несколько слов о предисловии. В одном пальце Савинкова было больше талантливости и художественности, чем во всем г. Луначарском. Комиссар народного просвещения не знает границ своей наглой пошлости. Он, так отвратительно клеветавший (— в качестве добровольного чекиста - прокурора — на процессе смертников —) на партию социалистов - революционеров с брезгливостью говорит о Савинкове из-за его «какого-то декадентского оплевывания своей партии». Он, кроме того, доволен тем описанием большевиков - чекистов, какое сделано Савинковым, не замечая даже, что и в этой форме оно запечатлевает их в представлении читателя, как отвратительные образы безжалостных и подлых тюремщиков и вызывает своеобразную симпатию, вытекающую из жалости к жертве и отвращения к палачам, к нелепой фигуре Гвоздева.

Ирония судьбы.. Предисловие к последней главе жизни Савинкова и к его последнему художественному произведению сделано Луначарским, одним из палачей Савинкова, быть может самым страшным из палачей, духовным палачем, задумавшим использовать **художественный** талант Савинкова.

Быть может и это месть? Савинков безконечно презирал Луначарского. Помню, как, перейдя фронт красной

армии и очутившись в штабе армии Учредительного Собрания в Казани, Савинков рассказывал о последних днях своего пребывания в Москве. Савинкова после разгрома его штаба в Москве и ареста Виленкина искали повсюду. В газетах даны были все приметы вплоть до «желтых гетр». И вдруг Савинков сталкивается на улице лицом к лицу с очень хорошо его знавшим Луначарским, только что вылезшим из автомобиля.

— Мы посмотрели друг другу в глаза, и эта... прошла молча.

— Но, может быть, он вас не выдал из благородства? заметил я.

— Он? Иудушка - Луначарский? Эта мразь? Нет, он знал, что я его тут же застрелю, как собаку. Луначарский и благородство....

И Савинков рассмеялся предположению о возможности какого-бы то ни было благородства у Луначарского.

Предисловие Луначарского блестяще подтверждает этот смех его жертвы. А «страшное, клеймящее слово **«Мразь»**, так понравившееся Луначарскому, было употреблено Савинковым, как видит читатель, восемь с лишком лет тому назад.

Вл. Лебедев.

Московская мозаика.

(Боязнь «потрясений». «Голубая кровь». «Партийные». Перерождение.)

Довлеет дневи злоба его...

А «злоба» московская (и всероссийская) все та же. Снова кризис. Снова оппозиция. Снова неизбежное, неприменное изгнание из рая.

Кризис еще тогда народился, когда Ленин из диктатора в больного, несчастного человека превращался. Еще самой «ленинской» партии невидим был его отход от дел, а стоявшие вокруг большевистского «мессии» жадной кучкой «апостолы» (все больше Иуды) уже делили его наследство, вели друг под друга подкопы, собирали «документики» и в меру способностей каждого сбивали собственные фракционные клаки.

Жизнь давала им — и, заметьте, **каждой фракции** — достаточные аргументы. Если собрать прилежной рукой воедино все фракционные программы и затем сделать, руководствуясь темпом и запросами жизни, тщательную выборку, то получится не такая уж плохая для Кремля **«общепартийная» программа.**

Но «апостолы», потерявшие «мессию» не способны на подвиг внутривпартийного коммунистического самоограничения. Нет пророка в своем отечестве. Для «вождей» Зиновьев прежде всего — Гришка, Сталин — «Сосо», Троцкий — меньшевицкий «рenegат» и т. д. и т. д. Никто друг другу не авторитет.

Каждая фракция стремится к «победе», каждая требует подчинения себе остальных. А дело кончится, как всегда, победой стоящих у руля. Победит и на этот раз невесомое, общее всей коммунистической массе, победит страх перед «**потрясениями**» и победит, конечно, в пользу более сильного. Разнородная оппозиция «смирится», с тем, чтобы, избегнув «**потрясений**», снова начать рост, снова приняться за дискуссию, в надежде без «**потрясений**» стать большинством в «партии».

Вот почему хотя и «довлеет дневи злоба его», для нас эта «злоба» стала настолько обычной, что даже не так сильно щекочет наши нервы грызня на **военно-коммунистических** верхах.

В окружении же, конечно, нервность большая. Для него это не только обычная склока. Для него даже временная перетасовка вождей (поездка «оппозиции» — сиречь вчерашних богов — в Крым или на заграничные курорты) означает лишение или получение мест, отставку или повышение по службе, пребывание в Москве или отъезд в «опалу» и т. д. и т. д.

Вот почему, не останавливаясь на нашей злобе дня, я перейду к тому, что заставляет «партию» так бояться «**потрясений**», к тому, что пускает прочные корни в нашу жизнь, чему трудно еще подвести итоги, но что необходимо знать каждому, кто, хоть сколько нибудь хочет представить себе черты правящей партии.

Если «слякоть» *) ждет с верой в гениальное будущее России, лучших времен и молчаливо, великомученически делает свое великое культурное дело, если «героически протестующие» наполняют тюрьмы во имя этого гениального будущего, то коммунистические верхи и их окружение быстро перерождаются... в «наших дворян».

И у бывшей интеллигенции, нынешней «слякоти» есть свой антипод:

«Голубая кровь»!

*) «Слякоть», как ее презрительно зовут большевики справа и слева, часть прежней интеллигенции, которой посвящена была в предыдущем номере (№ 10) «Воли России» интересная статья Б. Невидимцева. **Примечание редакции.**



«Голубая кровь»?

Ну, да, конечно, голубая кровь! Наша советская голубая кровь, текущая в высококвалифицированных коммунистических жилах... Это «завоевание октября» настолько **налицо**, настолько бросается в глаза на каждом шагу, что о нем никакого спора нет и быть не может.

Вот только тогда, когда ощутишь, оценишь все значение **«голубой крови»**, начинаешь понимать железную до последних дней сплоченность коммунистического ядра. Оно сцементировано, если так можно выразиться, «голубою кровью». Но эту «голубую кровь» надо ощутить самому.

Иду я как-то зимой — первой зимой Нэпа — по Кузнецкому и вдруг встречаю старого знакомого. В одном купе во время войны из Петербурга на румынский фронт тряслись и в дни «безкровной революции» встречались. До революции был он очень важным чиновником, не ниже статского советника.

А теперь, — поди спроси, кто он теперь....

— Приходите, батенька, столько лет не видались! У нас завтра именины жены. Вечером ужин, честь-честью, со всеми онерами...

— Воң, вы как живете?!

— Да, понемножку: «используываем положение»...

Признаться, я в первую минуту от неожиданности оторопел и недоуменно смотрел, как усаживал бывший «не ниже статского» жену в мехах на «довоенного» рысака (не перевелись еще они окончательно: в Москве меньше, а в Петербурге на Каменноостровском, да на углу Троицкой так попрежнему и стоят), как укутывал ее ноги полостью...

Решил: пойду.

Из передней сразу бросился в глаза стол человек на двадцать пять. Сервировка по «до-военному»; количество явств — помещичий стол «доброе старое время»напоминал.

Но час ужина еще не наступил; гости танцевали в го-

стинной. В сизом от табачного дыма тумане мелькали дамские плечи. Бриллианты, цветы в корзинах и вазах, духи — чего только не было в тесной «по советски», но пышной «по довоенному» гостинной.

Сразу трудно было даже освоиться.

Сел на первый стул у стенки. Шипенье грамофонное, хохот, резкие и визжащие возгласы — все сразу куда то отодвинулось, точно сурдинку надвинули на шумную комнату: — ухо мое очутилось возле дверной щелки, а с другой стороны двери, над телефонной трубкой, звучал голос — резкий, властный, гортанный:

— Нет, уже сегодня без меня справляйтесь...

— Когда вернусь? Не знаю...

С силой звякнул трубкой. Вышел человек во френче, револьвер в кабуре на кушаке. Пробираясь между танцующими, задевал локтями дам. Не извинялся. Держа все время в зубах папиросу прямо прошел к карточному столу и угрюмо уставился на карты.

От его взгляда исподлобья мурашки по спине...

Грамофон замолчал, наконец. Пары перестали кружиться. Теперь можно было разглядеть лица.

Кто они? Откуда они?

Дамы густо и неискусно покрашены. Расфранчены богато и безвкусно. **Видно, что в прежних «гостинных» не бывали, чувства меры ни в чем.** На каждой ювелирная витрина целиком.

Мужчины всех типов — от мышинных жеребчиков, напевавших:

«Ваши пальцы пахнут ладоном»...

до кожаных курток.

Захотелось не то, что уходить, а убежать.... Но чувство острой любознательности, хотя и смешанное с отвращением, превозмогло. Всех звали к тому же в столовую.

Уже через пять минут несли шампанское.

...Выпьем мы за Лиду,
Лиду дорогую»...

Через три часа все галдело, визжало, гудело. Я сидел и не мог уйти, несмотря на совершенно непреодолимое отвра-

щение. «Гуляла»-то ведь коммунистическая аристократия. Хозяин с гордостью сказал мне:

— Каково? Все — голубой крови!

И, действительно, кроме него, из ранга «примазавшихся» — «бывших» «не ниже статского» и уже, очевидно, успевшего попасть в партию, да еще нескольких ему подобных, остальные были чистокровными коммунистами и... чекистами.

Ушел я, когда началась драка, из страха попасть в историю. Случаю было угодно, чтобы я на другой день встретился с одним из моих новых по «именинам» знакомых.

— Ну, как кончилось?

— Общим мордобитием и выстрелами. Прислуга и та разбежалась... А вначале-то как хорошо было. Не стол, а Охотный ряд. Не гостинная, а оранжерея.

Действительно — оранжерея. Хозяин, как-то проходя мимо меня, сказал:

— Нравится-ли декорацийка? Восемь корзин цветов ушло.

Это в трескучие морозы.

Вот в какой обстановке я услышал впервые из восхищенных уст бывшего «не ниже статского» меткое определение

«голубой крови».

С тех пор много воды утекло. «Так мало прожит так много пережито»... «Голубая кровь», несмотря на «сылавшийся на север» Неп, несмотря на «рабочую оппозицию», отстоялась в коммунистических жилах, загуст и перевела коммунистов из ранга «фанатиков» в сосл «наших дворян».

*
**

На первый день Нового Года сталкиваюсь в из домов с, ну, скажем, гражданином Фридландом, ным, главным образом, тем, что, занимая книги, вращает их лишь в половинном количестве.

— Где встречали Новый Год?

— У Ольги Давыдовны Каменевой.

— Что-жъ весело было?

— Да, барынька занятная, молодцом: женщин — ни одной, — все кавалеры были.

Уходя Фридланд сказал:

— Знаете что. Вы все сердитесь на меня за книги; зайдемте, тут неподалеку, к одним моим знакомым. У них как раз часть ваших книг. Познакомитесь с очень интеллигентной семьей.

Поднялись на 5-й этаж огромного дома. Дверь открыла горничная, «по всем правилам» одетая, — черное платье, накрахмаленная накладка. Навстречу выскочил фокстерьер.

Хозяйка дома «томно» поднялась с кушетки.

— Заходите. Милости просимъ.

Мы очутились... Я не выдержал и, забыв все правила приличия, выпалил:

— Как же это у вас всего не забрали? Ведь это не квартира, а музей.

— Ну, знаете, если бы вы могли себе представить, сколько страданий, сколько энергии потрачено, чтобы отстоять это все, вы бы сказали что это еще очень маленький музей...

Старый фарфор всех эпох и стран. Картины и гравюры. Мебель — музейные «уники». На столиках и в шкафиках коллекции. Старинный бисер, вплоть до «чехольчиков на зубочистку». Коллекция табакерок. Коллекция серег и... даже крестиков старинных.

— А муж мой все на Смоленском рынке. По праздникам так уж с самого утра. Нет, нет, — чтонибудь да и вытасит.

— ...?

— Ах, мы ведь с ним прямо дышем «старинной». Это наша жизнь.

Как видите в коммунистическую голубую кровь уже прочно вкоренились бациллы «буржуазных паразитов». Расставаться с коллекциями и «музеями» в собственной квартире, куда как не хочется и не захочется. Будут-ли в будущем подобные собиратели «старинны» столпами ре-

ставрации — предоставляю судить заграничным поборникам реставрации. Но в нашей обстановке, исключаящей возможность реставрации, они, нет сомнения, есть и будут самыми верными псами большевизма, допускающего подобное «коммунистическое накопление».

Таких квартир - музеев в Москве много. «Дышащий стариной» — от непмана и до коммуниста включительно — один из новых пореволюционных типов, новая аристократия, сливки советской «голубой крови».

*
**

Как проводит в «свое удовольствие» вечера «голубая кровь»? Способов позабавиться у современных «принцев» — множество. Театры, рестораны, кабаре — счастье дополняют и разнообразят скучные партийные выступления «по долгу» или «по службе». Но есть и клубы. В один из них мне удалось проникнуть под соответствующим, благовидным предлогом. Клуб носит громкое наименование:

«Деловой Клуб»!

Помещается он на Мясницкой. В клубе — все, как полагается. Сначала спектакль. Хотя тот спектакль, на который я попал, только спектаклем назывался. На самом же деле танцевали шантанные дивы.

«Деловые» люди, от «дел» здесь отдыхавшие, одеты были отменно, «с иголочки». Много деятелей Г.П.У. со всем известными фамилиями и физиономиями. Ужин? Чем не Тестов старой Москвы? — Все превокласно. Взглянешь на эти лица — не удивишься: откуда они взялись? Откуда их вынесла на поверхность, какое там на поверхность — на самые вершины, октябрьская революция? В одном из приходивших к карточному столу я узнал допрашивавшего меня чекиста и буквально «влип» в стену, пока он серьезно не занялся игрой.

«Банкет» в таком клубе, куда сходятся верхи «делового» советского Олимпа, поразит своей роскошью любого европейца, и, конечно, ни за что нельзя поверить, что

происходит он в разоренной, да еще в **революционной** стране. А банкеты «нашего времени» — вовсе не редкость.

«Принцы» «голубой крови» пьют и проигрывают, не зная пределов. Размах у них во всем солидный — прямые наследники Кит Китычей и «чумазого».

«Принцессы» же (особенно **молодые** жены некоторых комиссаров) заказывают все предметы туалета целыми партиями, 6-7 платьев, например, «зараз». Портнихи жалуются, не успевая выполнять таких заказов-коллекций:

— Раньше никогда так не бывало... говорят.

Для полноты земного счастья каждая уважающая себя «принцесса» имеет, не считая драгоценностей, непременно «палантин соболий», «палантин горностаевый», «котиковое манто», «каракульчовое» манто и пальто «ковэркот». Английский ковэркот, **настоящий английский** мечта наших модниц, мехов, ведь, сколько хочешь, а английские сукна редки, и недоступны.

Считается, что все это, якобы, исчезло с момента гонения на непманов... Нет, все это существует, но не выставляется напоказ так цинично, как это происходило одно время, а притаилось и вылезает на свет Божий в соответствующие моменты.

«Голубая кровь» наших дней не ездит открыто в каретах, предпочитая им «служебные» «машины», (часами выстаивающие у магазинов в ожидании жен сановников) и балы устраивает все больше «интимные». Но эти балы «интимные» ей куда дороже (а потому и необходимее), чем даже прежней голубой крови. Шубу дорогую «дама» часто в шкафу держит, а ходит в «простеньком». Но как она эту шубу холит, как она ею горда, сколько «страданий», говоря языком любителей «старины», она готова за нее вынести... Однако, в чем бы она не ходила, опытного **обывательского** глаза не обмануть...

Особенно в глаза это бьет в Охотном ряду! Вот пришла «слякотница», то - есть «по прежнему» «настоящая» покупательница.

— Сергей Трофимыч, отпусти сударыню поскорее, крикнет хозяин приказчику.

И явственно сквозит в голосе почет и уважение. А вот пришла нэпманша или же «советская». Сдержанно, сухо и лаконично обращение с ней Сергея Трофимыча.

Вот на «Сухаревке» по «толкучке» ходит шуба простенькая и никому она очков не вотрет. Походила, походила, к «старине» приценивалась, ничего не купила, отошла. А вслед ей пониженным голосом, но насыщенным презрением тембром:

— Ишь ты сволочь — коверькотовая!

Сволочь коверькотовая — это почти «голубая кровь»..

Сволочь коверькотовая — это ли не символ?

*
**

«Голубая кровь» и **«партийные»** — или «партейные» — синонимы. «Партийный» — слово магическое, современное разрыв-трава.

Перед этим аргументом умолкает все, преклоняется все, и ненависть глубже вгоняется внутрь.

«Партийный» звучит у нас так, как в свое время звучало «Ваше Сиятельство», как гремело «Ваше Высочество».

На-днях я слышал своеобразные «Размышления у парадного под'езда». У парадного под'езда большого дома собралось несколько прислуг и работниц, заполняющих «процентную норму» этого дома.

Проклинают на все лады «управдома», перечисляя все его преступления.

— Да как же нам быть? Чем помочь?

— Поможешь, как же! Он ведь партийный...

И все замолчали.

Или вот другая картинка. В подмосковный кооператив привозят вино — правление кооператива впервые выхлопотало разрешение. Долгожданному обрадовались, столпились в очереди. Оказалось, что с вечера почти ничего уже не осталось. Недовольство, изумление, требования объяснений.

Заведующий выдержал паузу, делая вид, что занят своим делом, а потом выразительно обвел взглядом всех недовольных покупателей и преподнес, отчеканивая слоги:

— Все по-ра-зо-бра-ли **пар-тий-ны-е**.

Печать молчания мгновенно легла на все уста. Магия слова «**партийный**» непостижима. Все лучшее — «партийному». Места — «партийному». Дворцы и имения — «партийному».

Да, дворцы и имения!

Подмосковные **совнаркомовские** «дома отдыха», в которых «отдыхают» с семьями и родственниками народные комиссары, члены политбюро и **высшие** ответственные работники. — иначе говоря **головка** партии, да ведь это возрождение угодий и дворцов Кабинета Двора Его Величества.

Какими таинственными лучами поддерживаются в этих угодьях **оранжереи**, с обязательством садовника доставлять к столу отдыхающих сановников **живые цветы каждый день**, во все четыре сезона (а не «как раньше» — только к пасхальному столу)? И тут же на фермах, как из рога изобилия, масло, сливки, сметана, молоко, сыры — все первоклассное — изготавливается для сановников и их семей. Эта относительная масляно - молочная роскошь — в годы военного коммунизма была действительной роскошью, тогда она значила больше, чем дворец на Елисейских Полях для парижанина... Это она тогда наливала как яблочки щечки коммунистического дитяти, красила ланиты супруги вождя пролетариата и уширяла об'ем талии самого вождя. Тогда в этих фермах были подлинные источники живой воды... для вождей и их семейств.

Но и теперь это — роскошь. Роскошь не только на фоне недоедания «низов» и непрестанной голодовки «слякоти», но и безотносительно **роскошь**. В больших количествах все эти продукты поступают в продажу в **очень** ставах изготавливаются в совнаркомовских имениях молочные продукты, выводятся в инкубаторах под руководством опытных техников цыплята, разводятся свиньи, гуси, индюшки. — и все это к столу «голубой крови», современных «наших дворян». Для живущих в округе простом ограниченном количестве, и окрестные крестьяне так и говорят:

— Все к столу: прежде царь был один, а теперь сам

черт не перечтет — сколько их, — вот добра-то много и надо...

— Авось лучше станет, когда цари кончатся...

Но подмосковные отдыхи не удовлетворяют перерождающихся коммунистов. На «виноградный» сезон (впрочем на «бархатный» тоже) «партийные» едут в Крым, где в Мисхоре и в окрестностях все лучшие виллы отведены для этой «голубой крови», для этих, которых «сам черт не перечтет».

Заранее «бронируются» виллы и комнаты, заранее бронируются спальные купе в международных вагонах. И мчатся автомобили от Севастополя, битком набитые коммунистическими семействами с няньками, мамками, горничными. Зловеще оползает и разрушается «нижняя дорога» крымского побережья. Много думают о спасении ее. С какой то лихорадочной жадностью **упиваются** благами земными в земном раю, сегодняшним днем живут эти маски из страшных сказок, эти перерождающиеся «фанатики» революции, эти калифы на час, эта—будем надеяться—последняя отрыжка былой настоящей голубой крови.

При чем, подмосковными именьями и Крымом пользуются «во всю» решительно все из видных коммунистов. Даже самые совестливые, даже белые среди них вороны. А если не в Крым, то мчатся на заграничные курорты в Биаррицы, Ниццы, Наугеймы, Карлсбады. Коммунистические сановники рангом помельче, заполняют Рижское взморье, а некоторые из вождей наслаждаются «под пленительным небом Италии» и выводят своих жен в туалетах от Пуарэ и Шанель *) в различные райские места буржуазной Европы. Быть может, некогда замызганные, обшарпанные, мечтатели Латинского квартала и чувствуют своеобразное удовлетворение, катя в Биарриц (с каким восторгом и смаком рассказывают они о нем, возвратясь в Москву) и платя там по 250 - 300 франков за день пансиона, быть может, с своеобразной гордостью проживают они в царских дворцах Крыма — раньше, мол, цари, а теперь мы, коммунисты,

*) Лучшие парижские портные. **Примечание редакции.**

но, уже и им самим не может не быть видно происходящее перерождение.

Это перерождение диктует многим из них не только полные хвастовства разговоры о том, кто был в более дорогом месте, у кого более «шикарная обстановка», не только развивает в них страсть к покровительству служительницам изящных искусств и вырабатывает в них гастрономические вкусы, но делает возможным общее недовольство черезчур резкой демагогией зарвавшегося «оппозиционера», буд то сам Зиновьев.

— Эх, поторопились город назвать Зиновьевском, чорт его знает, что еще Гришка натворит.

Резкая борьба за власть всегда, ведь, может кончиться катастрофой. А перерождающиеся, вошедшие **во вкус жизни** представители нынешней «голубой крови» больше всего боятся каких бы то ни было **«потрясений»**. Какая там «мировая революция», могущая унести все блага. Потихоньку, да полегоньку, да помаленьку — по ухабам диктатуры.

Арсенал демагогической фразеологии истощается, в речах звучат новые нотки, и мещанская жадность «благополучия» самого вульгарного тона (сквернейший пережиток прошлого) вновь распускается махровым цветом в... столовых, гостинных и спальнях нашей нынешней «голубой крови».

Еще работают полным темпом —нередко по инерции — многие «ответственные работники», еще мечутся они по заседаниям, собраниям, комиссиям, еще немало коммунистов, выбиваясь из сил, пытается как то строить новую жизнь и в безтолковой, горячечной «работе» надрывает силы, — но общее, невесомое: боязнь «потрясений», страх за благополучие, создавшаяся основная привычка — **жить привилегированно** — в корне изменяет психологический тип коммуниста.

Тип коммуниста-фанатика стал музейной редкостью, колющей глаза «наших дворян», — нелепым призраком из «допотопных» коммунистических времен.

Б. Невидимцев.

Октябрь, 1926 года.
Москва.

Проблемы славянской политики.

Чем славянство не может быть в будущем. Славянская культура и экономическая политика. Политическая программа будущего славянства. Новое славянство и Россия. Заключение.

Теперь я хочу сказать лишь несколько слов — подробнее к этому вопросу я хочу еще вернуться — о славянских идеях и славянской политике в будущем. Обрисую прежде всего отрицательную сторону, то есть чем *так называемая славянская политика не должна быть в новой Европе.*

а) Новая славянская идея будет считать все, что напоминает *панславизм, славянофильство и панруссизм, погребенным навеки.* Принципно (но не на практике) неославянофильство похоронило уже все это. Я хочу, чтобы наше поколение осознало это еще глубже. Славянофильство было идеологией, которая не выдержала научного и философского, исторического и социологического испытания. Своими месснапскими теориями об отношении России к Европе оно удовлетворяло лишь данному реакционному режиму; что касается его философии истории, то она была неверна и ложна. В наше время об этом больше уже не спорят.

Тех отношений между Европой и Россией, какие изображало славянофильство, нет и никогда не было. Русский месснапизм по отношению к Европе был великой плюзией, и славянофильский романтизм уже окончательно преодолен. Это вовсе не означает, что Западная Европа не может постоянно черпать из сокровищницы русской и вообще славянской культуры. По правде говоря, нужно ведь признаться, что Россия и остальные славяне в экономическом, политическом и культурном отношении не стоят на такой высоте, как Европа, и потому должны во многом подражать и стремиться догнать Западную Европу. При этом будет правильным и даже необходимым, чтобы они сохранили в себе то, что ха-

рактически характеризует их национальную индивидуальность. В противовес этому Европа должна стремиться понять Россию и славян, перестать смотреть на них без уважения и черпать у них то, что может содействовать усовершенствованию европейского человечества и культуры. По моему, этого в славянских культурах много, особенно в области духовной культуры.

б) Далее необходимо, в связи с тем, что было сказано, отвергнуть в славянской теории все то, что бы хотело строить великую идеологическую славянскую концепцию на *антропологической основе единства славянской расы*. Единства нет и не было. Все славянские народы в расовом отношении смешаны. Желание строить на этом основании является доказательством полного незнания научных достижений современной антропологии. Это не-славянская наука, а славянское невежество.

в) Далее необходимо вычеркнуть *навсегда* из всех теорий о *славянском единстве и взаимности религиозный элемент*.

То, что религия и церковь играла в истории всех славянских народов такую важную роль, доказывает лишь о глубине их чувств и о глубоком и серьезном взгляде на жизнь. Этим можно объяснить стремление использовать религию и церковь в политическом отношении при спорах о славянском единстве. А ведь, наоборот, можно и должно было понять, что религиозная идея не может объединить славян, но, наоборот, будет лишь их разделять. Ведь русские и часть югославян православные, а поляки, чехословаки и часть югославян католики, причем в этой последней группе есть сильный протестантский элемент. Кроме того, в Чехословакии теперь делается попытка создать новую чехословацкую церковь. Тот, кто знаком с сущностью религиозной борьбы в средние века и в наше время должен ясно видеть, что попытка объединить славян на религиозной основе означала бы уже заранее полную невозможность какой бы то ни было общей славянской политики. На практике это означало бы еще больше подчеркнуть и усилить и без того существующие несогласия.

Это касается будущего и еще больше, чем прошлого. В современную нам эпоху развитие религии и церкви идет в направлении отделения от государства; все прежние попытки объединить религию и славянство, находились, наоборот, в тесной связи с объединением государства с церковью и национальной религией. И церковь и государство становятся теперь самостоятельными, и этот неуправляемый процесс нельзя надолго остановить какими бы то ни было попытками, какой бы то ни было партией. Поэтому связывать какую бы то ни было религию со славянством означало бы связывать крылья славянского единства.

Религиозный и церковный элемент никогда не поддерживал идеи единства и сотрудничества, наоборот, они всегда являлись лишь препятствием. Прежде это касалось православия, теперь это

касается всех попыток. Попытки такого объединения могут служить на короткое время целям политической партии, но истинно славянского единства они не добьются и идее славянского сближения пользы не принесут. В будущем как раз наоборот, всякое стремление к идеологическому, культурному и политическому объединению славянских народов не должно связывать себя с теми элементами, которые создавали единую религию или церковь, или подчеркивать, что та или иная церковь является по преимуществу славянской или более славянской, чем остальные. Единственный принцип, который должен быть во главе всякого славянского сотрудничества, это полнейшее уважение ко всем религиям и церквям, терпимость и нейтралитет.

Я этнически не хочу сказать, что прасловяне чехи и могут содействовать сближению чехословаков и русских или чешские католики не могут служить сближению чехов и поляков. Однако, это не имеет ничего общего со всеобщей идеей славянства. Ошибочно, если подчеркиванием «славянского духа» подобного предприятия, пользуются ради партийных целей. Настоящей целью тут является польза православия и католичества, а не славянской идеей, партии и направления, а вовсе не народа и славянства. Поэтому я признаю и понимаю унияцкие стремления постольку, поскольку они являются чисто религиозным движением. Как только они переходят на политическую почву и хотят опереться о «славянскую идею», я их решительно отвергаю.

г) О идее *царизма*, которая была в той или иной форме близка панславизму, в наше время нет надобности и говорить. В будущем идея славянского единения не будет связана ни с монархическим принципом, ни с абсолютизмом какого бы то ни было рода. Славянская взаимность будет в будущем связана с развитой современной демократией. При этом мы не касаемся внутреннего режима какого бы то ни было славянского государства, будь оно монархией или республикой.

д) От идеи панславизма нам остается еще вопрос о политическом объединении всех славянских народов — федерация или великая славянская империя. Сейчас уже ясно, что серьезный политик не будет долго заниматься чем-нибудь подобным. К этому вопросу мы еще вернемся.

е) От австрославизма вообще ничего не осталось, а потому я не буду о нем и говорить.

ж) Неославянофильство так же, как панславизм, может послужить для нас хорошим уроком в смысле того, чем не должна быть в будущем славянская идея. И неославянофильство, в особенности, когда оно позднее подпало под влияние правых элементов, верило, в сущности, в какой то русский мессианизм и выдвигало могущественное славянство, как противовес Западной Европе. Внешне оно восставало против этих взглядов, но внутренне, наконец, тоже

прониклось имп. В виду того, что, как я уже говорил, его главные предположения не осуществлялись (Россия и Австро - Венгрия не сговорились, считаться с существованием габсбургской империи было ошибочно, во время войны эта империя распалась и все славянские народы стали свободны) из всей этой теории не осталось ничего для будущего славянства. Требование примирения славянских народов было вопросом неотложной практической политики и необходимой очевидностью всякого славянского единения в прошлом и будущем.

3) Таким образом, из всего неославянофильства остается один серьезный вопрос, которым необходимо заняться: неославянофильство (частично и панславизм) строило свою политическую программу на факте немецкой *опасности и продолжительного спора славян с германцами*, на практике с могущественной германской державой.

Об этом явлении в известной мере думали и панслависты, естественно, что с ним будут всегда считаться те, кто в будущем будет говорить о славянской идее и славянской связи. И для будущего славянства будет важно взвесить, до какой степени оно должно сообразоваться в своих теориях и в практике с отношениями между германством и славянством и с той опасностью, которая может политически, экономически и культурно грозить новым освобожденным славянским народам во время их борьбы за собственное развитие и существование и за место среди культурных народов.

Я этим хочу сказать, что в будущем славянство должно будет серьезно считаться с этим элементом, чрезвычайно стремящимся к расширению в политическом, экономическом и культурном отношении, будучи само более слабым на всех этих поприщах. *Однако, было бы роковой ошибкой политически понимать идею славянской совместной работы исключительно под углом зрения спора германцев и славян*, как ранее уже пытался объяснить последнюю войну в виде немцев и славян. Будущее славянство, в *своих собственных интересах*, как я сейчас покажу, не должно иметь столь ограниченных горизонтов.

40. Этим я исчерпал отрицательную сторону вопроса, т.е. то, чем славянство и идея славянской взаимности и славянской солидарности не может и не должна быть. Если теперь я хочу показать *положительные стороны*, то есть то, чем *славянство в будущем должно и может быть*, то должен прежде всего отметить два крупных факта, которые были основой и исходным пунктом для всех пропагандистов, с которыми, как с реальными фактами, должны считаться и мы.

Все идеи о славянской солидарности и славянском единстве исходили до сих пор вполне правильно из факта, в своей основе довольно неопределенного, но, несмотря на это, все же существу-

ющего: из чувства родства славянских народов, родства на несколько ступеней более глубокого, чем у романских народов, родства, равняющегося подобному же чувству у современных скандинавских народов (шведов, норвежцев, датчан). Это родство получило сильнейшее выражение в лингвистическом сходстве и родственности и в известном сходстве, по крайней мере некоторых сторон, национальной культуры отдельных славянских народов. Это было крепкой основой для идеи славянской взаимности и единения в прошлом, осталось это и сейчас, будет это и в грядущем. Я считаю с этим, как с существующим фактом.

Вторым важным элементом были известные общие политические, экономические и культурные интересы. Они существовали и ранее, но как раз история неославянофильства показывает, что в противовес им выступали иные, противоположные интересы, которые парализовали общие интересы и делали невозможным истинное славянское движение. Бывали случаи, когда национальный взлом перевешивал роковым образом все стремления к славянскому объединению. Я не хочу этим сказать, что общие интересы более слабы, чем частные и ведущие к раз'единению; я хочу сказать лишь то, что противоположных интересов было столько (у поляков и русских, у болгар и сербов, у чехов и Австрии, у хорватов, чехов и поляков в Австрии и т. д.), что когда настали важные события, общие интересы отошли на задний план и каждый народ начал преследовать свои цели. Это было естественно, и ошибка заключалась в том, что с этим не считались. В будущем все это надо принять во внимание.

На практике это означает, что идея славянской взаимности должна хорошо взвешивать и измерять эти общие и враждебные интересы и уже на этом основании вести реальную политику. Однако, будущее славянство обладает одним огромным преимуществом, на которое я уже выше обратил внимание: большинство споров и несогласий из-за которых потерпело крушение и старое славянофильство и неославянофильство, разрешено теперь мировой войной.

Поэтому, в будущем у славянства гораздо больше налегк на успех, конечно, в том случае, если оно сумеет правильно оценивать положение и практически и теоретически разрешать свои проблемы. Принципом нового послевоенного славянства должно быть усиление изречения блаженного Августина: «*in necessariis unitas, in duceis libertas, in omnibus caritas*» (при тяжких обстоятельствах — единство, при благоприятных — свобода, «при всех, — милосердие»). Для нас, политиков, это означает:

- а) Общее выступление и соглашение всюду, где есть общность интересов.
- б) Взаимная доброжелательность в нейтральных вопросах.

в) Нейтралитет и невмешательство непричастных славян по отношению ко всем спорным вопросам, возникающим между двумя славянскими народами.

г) Добрая воля, лояльность и чистосердечие во всей взаимной политике.

Как я уже упоминал ранее, в будущем лишь два важных вопроса, в которых сталкиваются интересы, будут иметь такое значение, как перечисленные споры довоенного времени: русско-польский и сербо-болгарский споры.

Наоборот, главные довоенные экономические и культурные интересы остались. Остался и известный антагонизм новых славянских государств по отношению к Германии, несмотря на то, что мы должны его формулировать совершенно иначе, чем это делали старые славянофилы. К этому присоединился еще целый ряд новых интересов, особенно политического характера, возникших из того факта, что до сих пор славянские народы, бывшие до сих пор несвободными, добились своих национальных государств.

Теперь я хотел бы показать *третий элемент, чрезвычайно важный* для положительной формулировки будущей славянской политики: славянскую политику будущего *должно будет вести государство, а не различные классы народа*, а в своем государстве *весь народ, а вовсе не та или иная политическая партия*. Порабощенный народ мог совершенно иначе представлять и формулировать идею славянской взаимности, чем это должен делать свободный народ, имеющий свое государство.

Отношения чехов и словаков к России до тех пор, пока они не были свободны, могли находиться на линии колларовского романтизма или неопределенно сентиментального неославянофильства без какого бы то ни было исключительного вреда. Я не говорю, что это было правильно — думаю, что моя критика этих славянских идей была достаточно ясна. Я говорю лишь, что это было еще катастрофическим. Можно даже допустить, что эти иллюзии придавали в известном отношении моральную силу и надежду нашим людям во время национальной борьбы и этим оказали известную услугу.

Однако, я являюсь во всем и всюду противником философии «*ria graus*» (святая ложь). Я ненавижу ложь и иллюзию в политике, когда это касается народа еще больше, чем в частной жизни. В конце концов, это всегда мстит за себя; иезуитизм и маккиавелизм всегда постыдны, даже если они не являются добром для народа. Не будем спорить: говорят, что все эти иллюзии о России и славянстве принесли нам пользу. Я не верю этому в такой форме; вернее будет сказать так — они не повредили нам потому, что нашлись люди, которые им не поддались и во время реагировали. Теперь у нас есть государство, поэтому предаваться иллюзиям гораздо опаснее и ответственнее, чем раньше; так хотя бы поэто-

му не будем убаюкивать себя в будущем. Нечто подобное было, хотя и в меньших размерах, у югославян и болгар. У поляков была приспособливающаяся политика момента, расчетливый оппортунизм данной минуты. Поэтому, во избежание того, чтобы из-за подобного романтизма народ вообще не сбился с пути, была так важна реалистическая и социалистическая критика прежних славянских идей, которая и держала его в известных границах. Я охотно признаю, что были случаи, когда эта критика хватала через край.

Независимое государство и народ не могут позволить себе подобного романтизма и сентиментализма.

Подобным - же образом в самостоятельном государстве славянские идеи не могут и не должны стать предметом партийных обещаний, партийной и личной демагогии.

Если в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия фантазии о православии, кирилломефодийстве, общеславянской азбуке и федерации привели к провалу, то ведь это было провалом отдельных течений и личностей; если взгляды на совместную работу России и Австро - Венгрии и мнение о возможности создать славянское движение, лояльное по отношению к России и Австро - Венгрии, привели к неославянофильским теориям, то это уже могло иметь более серьезные последствия (особенно для югославян), но все же, в конце концов, это было предприятием отдельных лиц, или в лучшем случае некоторых направлений и групп -- народа это глубоко не коснулось.

Теперь у нас, как у поляков и югославян, есть государство. Всякое осуществление славянской политики коснется по необходимости в том или ином отношении всегосударственной политики. В виду того, что ни одно славянское государство не хочет или не может вести антиславянской политики, каждое действие, связанное со славянством, становится косвенно или непосредственно важным элементом, на который должна реагировать официальная политика.

Поэтому, я особенно подчеркиваю необходимость сдержанности, мягкости и согласования; поэтому я требую реализма и реальности во взглядах и действиях. Поэтому теперь более, чем когда либо я отвергаю во имя государства и народа в славянских идеях всякий романтизм, нереальность, женственный сентиментализм, фанатические планы, личные склонности, вкусы и антипатии.

Я требую в спорах и работах, касающихся так называемой славянской политики, линии поведения, которая была бы пропитана уважением к *международному положению государства*. Теперь создано иное положение, чем перед войной, когда никто в целом мире не заботился о чехах и словаках, когда они заявляли о том, что хотят войти в федерацию с великой Россией. Теперь

наше государство связано тысячами нитей с Западной Европой, с Англией, Францией, Италией, со своими соседями, с Малой Антантой. Каждая формулировка так называемой славянской взаимности находит отзвук в этих землях, особенно у наших соседей, она касается политических и экономических интересов всех этих государств, которые, конечно, на это очень отзываются и дают это чувствовать. Этого не видит журналист, этого не чувствует депутат, этого не знает общественный деятель, но это весьма остро чувствует министр иностранных дел, который с трудом исправляет при помощи инспирированных закулисных сообщений, официальных нот, ответственных разговоров тот вред, который недальновидная агитация, фантазии, личные выгоды и различные партийные выступления, стремящиеся создать минутный эффект, благоприятный той или иной партии или личности, причинили государству.

Мне отвечали, что наше принятие этого взгляда означало бы просто, что мы должны делать то, что желают иные и что при таких условиях мы бы стали жертвой интересов и стремлений других народов и государств. На такие жертвы мы не имеем права; кроме того, мы не можем делать того, чего хотят или приказывают нам другие. Да, я совершенно с этим согласен, но, повторяю, мы не имеем также права делать неосторожные и легкомысленные поступки за счет государства. Каждый разумный политик должен серьезно обсудить, не будет ли реакция целого мира настолько сильна, что могла бы причинить государству и народу больший вред, чем польза от действия, вызывающего реакцию. Ни о чем ином я и не говорю. При практическом созидании новой славянской идеи дело будет заключаться в том, чтобы мы не вызвали того, что вызвал пангерманизм. Поэтому и в проповеди славянской идеи дело будет заключаться в том, чтобы мы не вызвали того, что вызвал пангерманизм. Поэтому и в проповеди славянской взаимности необходимо ставить самому себе пределы ради того, чтобы не возникли недоразумения, а вследствие них и вред государству.

Одним словом, то, что можно было еще кое как проделывать в политике несвободного парада, совсем или мало ответственного в международном отношении, совершенно невозможно теперь делать в свободном государстве, при том, паходящемся настолько на виду в международном отношении, как Чехословакия, Польша или Югославия. Это настолько ясная вещь, что каждый человек должен был бы ее понимать. Поэтому в новом государстве я требую новой славянской идеи, новых методов работы, новых взглядов на его задачи и возможные достижения, полного освобождения от всех ошибок и фантазий довоенного славянофильства.

Мы имеем полное право требовать, чтобы в иностранной политике политические партии были сдержанны. Мы требовали, что-

бы наши чешские социалисты были сдержанны по отношению к Франции в то время, когда во Франции было правительство Пуанкаре, против которого были социалисты, чтобы были сдержанны и наши клерикалы, когда пришло правительство Эррио; того же самого мы требуем от наших социалистов по отношению к фашистскому правительству, так же, как и к Ватикану, с другой стороны, мы требовали от наших правых сдержанности по отношению к правительству Макдональда, Вандервельде, Брантинга или к Советам.

Все это настолько само собою разумеется, что по настоящему было бы совершенно лишнее о них говорить. Того же самого мы требуем от наших отдельных партий по отношению к так называемой славянской политике. Мы отвергаем в данном случае самым решительным образом какую бы то ни было демагогию. Плохим славянином и патриотом является тот, кто подчеркивает славянофильство, как нечто личное или партийное и этим косвенно упрекает в неславянстве других и бросает ложный свет на всю политику государства и народа.

Я встаю против этого так же, как я бы восставал и против того, если бы одна из наших партий старалась бы казаться более франкофильской, чем остальные партии и чем официальная политика. Это ура - славянофильство вовсе не помогает развитию идей славянской взаимности, наоборот, оно делает невозможной для всех приемлемую славянскую программу и вызывает сильную реакцию, которая легко идет далее, чем должна была бы идти: кроме того, оно несправедливо по отношению к стремлениям создать новую славянскую идею и приводит к полному отрицанию.

Иными словами: должен наступить конец всякой партийности в вопросах, касающихся единства *государственной* концепции взаимных отношений славянских *государств*, а вовсе не отдельных лиц или групп или партий. Скажем это еще иначе: идея славянской взаимности должна стать предметом иностранной политики славянских государств и к ней должны быть применяемы методы, которые должны применяться, как здоровые принципы вообще ко всей иностранной государственной политике. Лишь после этого идея славянской совместной работы станет чем то реальным и конкретным.

41. Так мы подходим к *формулировке так называемой славянской политики славянских государств.*

а) Каждая официальная политика славянского государства должна считаться с *идеями родства славянских народов, с чувством родства и мимическою и культурной близости.* Эта политика не должна быть сентиментальной, но в то же время она должна считаться с существованием эмоциональных элементов.

б) Из этого проистекает *общность политики в культурных вопросах.* В данном случае я принимаю в общем то, что начали

формулировать съезды 1848 и 1867 годов и что позднее еще более решительно начало проповедывать неославянофильство. Я не буду более подробно разбирать данный вопрос. Он означает широкую совместную работу на литературном, научном и художественном поприще и вообще в области культурной, так же, как и в области технических и экономических организаций. В данном случае обязанностью специалистов является применение личной инициативы. Государство же должно им помогать своими средствами и официальной политикой. Чехословацкая республика старается вести подобную политику по отношению к Западной Европе, прежде всего, по отношению к Франции и англо-саксонским народам, тем усиленнее она должна осуществлять ее по отношению к славянским государствам. Она должна помогать им и в свою очередь у них учиться.

Мне бы хотелось, чтобы никто в сотрудничестве и во взаимности не видел и не искал ничего *мистического*. Точно так же, как мы совместно работаем на культурном поприще с Францией, как естественно поддаемся пемецкому влиянию, точно так же я хотел бы более систематично и основательно поддерживать связь с остальными славянскими народами: с югославянами, прежде всего, с русскими и поляками. Мы можем еще очень многое передать друг другу. Я считаю ошибочным основывать сейчас же эти сношения на целях и планах отдельных политических направлений и групп. В этом могло бы заключаться одно из главных препятствий для подлинных культурных славянских сношений. Очень часто огромную политическую роль играет неполитическое явление, нетенденциозное и не подчеркивающее определенных политических целей.

Я бы очень желал, чтобы у нас было русско-чешское, польско-чешское и т. д. общество или институт для культурных сношений, которое при этом определено бы отвергало непосредственное делание политики и политическую пропаганду и тенденциозную агитацию. Мне бы хотелось, чтобы культурное чешско-русское сотрудничество вели те, кто вовсе не хочет делать политику и не присваивает себе монополию связи с правыми или левыми русскими кругами. Одним словом, мне бы хотелось, чтобы нашу культурную работу с остальным славянским миром вели, прежде всего, культурные, а вовсе не политические круги. Позднее эта работа принесет богатые политические плоды. Иначе это легко превратится в партийные споры, которые напугают всех серьезных ученых и художников.

Это вовсе не означает, что стремление к единению и совместной славянской работе на культурном поприще не имеют ничего общего с политикой, как это неправильно говорили неославянофилы (в то время культурными вопросами занимался политики, так как это было единственной политикой, которую они

могли вести более или менее беспрепятственно). Я говорю лишь то, что теперь наоборот, можно применить принцип разделения труда, обе эти области отделить одну от другой и тем сделать работу более интенсивной и легкой. Мне бы также хотелось, чтобы в науке, в философии, литературе и искусстве не занимались политикой на основании партийных катехизисов и тем не искажалось то, что мы называем неполитической политикой и что часто приносит самые обильные плоды.

Потом государство и правительство внесут и свою официальную лепту: стипендии, финансовая помощь, устройство славянских и специально русских, польских и югославянских институтов, командировка профессоров, студентов, художников и т. д. Результаты покажут сами себя и в области политики. Повторяю: из культурных сношений не следует делать мистических культурных славянских объединений. Я хочу, чтобы то, что мы уже делаем по отношению к другим народам, начали основательнее, глубже, систематичнее и серьезнее осуществлять и по отношению к славянским народам. До сих пор мы об этом лишь говорили. Я надеюсь, что еще в этом году будет у нас осуществлен славянский институт, потом будут поставлены и остальные вопросы, что касается результатов, то они последуют сами.

в) *Экономическая совместная работа* является третьим важным пунктом практической славянской политики. Об этом вопросе уже достаточно говорилось и ранее были сделаны довольно серьезные подготовительные работы. И в этой области мне бы хотелось видеть больше реализма и серьезности. Мне бы хотелось, прежде всего предостеречь от мистических представлений о так называемом славянском единстве и чувстве, которые поведут Бог знает к какой совместной политической деятельности.

В экономике дело касается денег, то есть вопроса, в котором острее всего проявляет себя эгоизм каждой отдельной личности и где полагаться на чувства и братство не только не правильно, но ложно, политически близоруко и глупо. Если с этим не считаться, то все теории политиков, идеологов и идеалистов потерпят полное крушение.

Очень часто случается и наоборот — славянские чувства и братство превращаются в торговлю и в предлог для торговцев патриотизмом; такая славянская работа ведет как раз к обратному разочарованию, к осложнению экономических сношений и к уничтожению истинной славянской связи. Скверное качество товаров, петочную поставку и эксплуатацию покупателя пельзя прикрывать ссылками на славянское братство.

В экономической жизни нужно реальное сотрудничество, покоящееся на интересах и взаимной *материальной выгоде*. Для экономического сотрудничества среди славянских народов, если оно ведется под лозунгом славянского единения и освобождения

необходимо больше, чем где бы то ни было, твердости и реальности, иначе всякое славянское сотрудничество будет заранее убито.

Поэтому, и в данном случае, как ранее в вопросах культуры мы скажем: никаких иллюзий, реальность и твердость, систематическое создание экономической связи, не опирающейся на какие либо ссылки на братские славянские чувства, но поддерживающиеся исключительно хорошими результатами и материальной выгодой обеих сторон, основательно продуманная программа совместной работы, основывающейся на расчете, систематическое изучение обоюдных технических, промышленных, земледельческих и иных возможностей, *а когда все это будет исполнено, то дополнительно мы можем взывать к всеславянским интересам и пользе.*

К этим принципам присоединится *экономически - торговая политика государства.* Ее можно строить лишь на вышеприведенных предпосылках, так как если бы один лишь раз рискнули сослаться на братские чувства, то при первом же удобном случае парламент и общественное мнение дали бы надлежащим образом понять правительству, что значит, если государство заключает невыгодные торговые договоры хотя бы и с прибылью и для братского государства. Наше государство существует всего лишь восемь лет, по у нас нет столь наивных людей, которые при заключении торговых договоров ссылались бы на братские чувства. Мне бы хотелось, чтобы это исчезло также из ежедневной терминологии профессиональных пропагандистов славянской идеи, так как в общем это лишь пугает общественное мнение и мешает правильному пониманию экономического сотрудничества славянских государств.

Теперь я бы хотел коснуться, хотя бы мимоходом, еще одного вопроса: в последнее время пропагандируется идея славянской взаимности на почве *аграризма.* Я не хочу детально разбирать вопроса; я лишь констатирую, что сослаться на аграрную связь имеет смысл постольку, поскольку при помощи ссылок на развитие аграрной партии в каком либо славянском государстве можно поддерживать исключительный партийный размах и авторитет другой подобной же партии, *с истинной славянской идеей это, конечно, не имеет ничего общего.* К этому может быть приложимо то же, что я уже выше сказал о партийности и славянофильстве.

Ко всему этому еще необходимо добавить, что при современных условиях экономически молодые славянские государства при заключении торгово - политических договоров оказываются во враждебных отношениях с аграрными партиями других государств, вследствие того, что все они прежде всего являются аграрными государствами. В общегосударственной политике аграр-

ные партии становятся конкурентами в экономической области. Повторяю: идея всеобщего славянского сотрудничества — если она правильно понята — не может носить ни партийного, ни буржуазного, ни социалистического, ни аграрного, ни католического клейма, она может быть лишь общенародной, общегосударственной.

Это не означает, что отдельные политические партии не могут поддерживать каждая в своей области стремления к сближению славянских государств. Я отвергаю, однако, теорию новых славянских идеологий, столь же не научных, как и прежние славянские монархические, униатские, православные и иные идеологии.

42. Политическое сотрудничество славянских народов и государств, в истинном смысле этого слова, является особой главой: оно более всего бросается в глаза и более всего важно.

Я уже указал, что факт освобождения славянских народов дает возможность вести так называемую славянскую политику, лучше, чем это делалось до войны. Современная Югославия, Польша и Чехословакия могут попытаться создать политическое объединение. Серьезных препятствий, которые проистекали бы из их отношений, не имеется. В скором времени к ним могут присоединиться Болгария и Россия. Препятствием может быть лишь теперешнее отношение Югославии к Болгарии и польско-русский вопрос.

Однако, каждая совместная политическая работа славянских народов будет в корне отличаться от так называемой довоенной славянской политики.

а) Прежде всего это будет, как я уже говорил, *политика, которую поведут между собой государства, а не поработенные народы*. А это имеет большое значение. В таком случае между народами и государством, к которому они принадлежат, не будет столкновений, — это чрезвычайно упрощает весь вопрос. Если гденибудь подымется вопрос о принадлежности меньшинств одного государства другому, то ведь это будут меньшинства, не составляющие основы народа и, таким образом, дело, не дойдет до того, до чего доходило в довоенное время, то есть, что спор двух народов или даже формулировка так называемой славянской политики требовали безотложного уничтожения или основной перестройки государства. Теперь при формулировке политической взаимности и совместной славянской работы дело в действительности не дойдет до уничтожения государств.

б) В наше время при формулировке политического сотрудничества можно опираться лишь на *демократическую программу*. Каждый недемократический национализм одного из славянских народов заранее исключает какую бы то ни было славянскую политику. Новую славянскую политику, действительно славянскую и

всеславянскую способны создать и формулировать лишь *демократы, а не шовинисты*. Абсолютисты, монархисты, православные, реакционеры, шовинисты волей неволей возвращались бы к довоенным построениям, они обязательно начали бы снова создавать старые империалистические учения и славянские программы, на основании которых одни работали бы за счет других. Поэтому новую славянскую политику могут делать лишь *новые, более молодые поколения*, не унаследовавшие старой славянской политики или, по крайней мере, те, которые смогли понять, что означают для славянских народов война и русская революция.

Вполне правильно сказал Милюков, что создание новых славянских государств произошло в значительной мере без России, а в известном смысле могло осуществиться лишь благодаря тому, что в России произошла революция в самый затруднительный момент. Необходимо еще прибавить: это произошло потому, что пала Австро - Венгрия, пал абсолютистический монархизм в трех державах — в Германии, России и Австро - Венгрии — и победила демократия. Я думаю, что мы все согласимся с тем, что своим падением и революцией Россия принесла огромную жертву, что ошибки, сделанные в этом отношении необходимо будет исправить в будущем во имя общих интересов работы и славянских народов. В особенности будет необходимо разрешить новый затяжной польско - русский спор, который возник из нового положения. Это будет в интересах всех.

По понятным причинам я не хочу касаться подробностей.

в) *Общие политические интересы* славянских народов, протекающие из *силы, количества и стремлений немецкого народа, остаются тем же, чем были и до войны*. Я далек от того, чтобы формулировать этот вопрос так, как это делало неославянофильство. Для современной послевоенной демократической международной политики было бы принципиальной ошибкой выдвигать теорию о принципиальных несогласиях славян и немцев. Это мог сказать Бетман - Гольвег, аристократ и юнкер. Мы же *хотим демократического взгляда на отношения немцев и славян*, мы хотим попытаться формулировать идею примирения и сотрудничества славян и немцев.

В будущем в совместной деятельности славян не будет *argioi* скрываться заостренное оружие против немцев. Как соседи, немцы и славяне осуждены на постоянную и систематическую экономическую и культурную совместную работу. Но и они должны открыто сказать друг другу, что их отношения будут покоиться на принципе каждый сам себе господин! Справедливо и демократично! Если бы это не было возможно, то формула славянской взаимности стала бы формулой общей обороны одних против других в случае известных осложнений.

Демократический взгляд на отношения славян и немцев вы-

ражен также в новой организации послевоенной Европы: *славяне без колебаний могут принять идею Лиги Наций и построить на ней свои отношения к Германии и остальной Европе.*

При всех недостатках современной организации Лиги Наций она дает слабым больше, чем сильным. Придет время, когда она станет весьма неудобной для сильных. Слабым она может дать гарантию существования и безопасности и известную относительную справедливость, сильным же предоставляет лишь возможность некоторого совместного решения и известного влияния на факты и интересы. У славян, как элемента, в общем культурно и политически более слабого по сравнению с романскими и англосаксонскими расами в Европе, есть интерес создавать и поддерживать такую политику.

Поэтому, мое заключение в этом основном вопросе об отношении немцев к славянам будет гласить:

1) Отдельные славянские народы заинтересованы в создании сильной Лиги Наций.

2) Славяне должны формулировать свои отношения к немцам (как к элементу, который мог бы грозить существованию отдельных славянских государств) на основании современной, демократической политики Лиги Наций.

3) У славян должна быть по отношению к немцам положительная, а не как до сих пор лишь отрицательная точка зрения и программа. Именно благодаря своему отрицанию мы были до сих пор всегда в невыгодном положении.

Это охватывает все, в пужном случае и всеобщую самозащиту. В этом нет ничего агрессивного по отношению к немцам. Кроме того, в этом нет ничего такого, что бы могли принять за славянский шовинизм, который искали, как в панславизме, так и в неославянофильстве (говоря о нем, как о неопанславизме).

г) Этим я также отвечаю на вопрос о старой *идее славянской федерации или славянской империи*. Я не верю в государственное правовое объединение славян, как это себе представляли панслависты и некоторые неославянофилы. Я не исключаю, что в дальнейшем будущем возможна более тесная связь между всеми или некоторыми славянскими государствами (возможен случай присоединения и не славянских государств) на основе, подобной союзу Малой Антанты или в форме какой то Малой Лиги Наций, повторяющей в главных чертах современную мировую Лигу Наций. Лишь в таком виде я могу представить себе объединенную политическую организацию славянства, приемлемую для остальной Европы и целого света. И в этом отношении я согласен до известной меры с Милуковым. Однако, было бы ошибочно ускорять это развитие и вызывать комбинации, которые, создавая недоразумения, вредили бы укреплению Европы.

Я полагаю, что замирение и восстановление Европы пой-

дет на более широкой основе, чем взаимная связь славянских государств. Уже теперь поговаривают об Европейских Соединенных Штатах, а чаще и о Среднеевропейских Соединенных Штатах. Нельзя забывать, что современная Россия является *советскими Соединенными Штатами, каковыми по всей вероятности, она и останется*. Это будет иметь бесспорное влияние на остальные славянские государства и образования в средней и западной Европе.

Мне бы не хотелось, чтобы слишком схоластический взгляд на так называемую федералистическую славянскую политику мешал всеевропейскому развитию, тем более, что у новых Русских Соединенных Штатов, как сейчас, так тем более в будущем, будет иное отношение к славянским и европейским государствам, чем это представляли себе довоенные пропагандисты славянства. Напротив, и упомянутое развитие Европы не должно быть препятствием для более тесной работы и организации славянских государств в уже указанном направлении. Оба эти течения могли бы и должны были бы идти параллельно.

д) В этой схеме должны были бы найти соответствующее место и румыны — место независимое, безопасное и прочное. Подобным же образом, и мадьяры должны были бы быть обеспечены от опасности всех старых панславянских склонностей. И в данном случае гарантию им может дать лишь политика Лиги Наций. *Поэтому, я считаю ложным все прежние идеи политических и экономических славянских федераций и империй и не верю в подобную форму и в будущем*. Да я этого и не желал бы. Если бы одна из таких форм осуществилась, то это было бы за счет некоторых народов и ее последствия со временем привели бы к европейской катастрофе.

Идея современной демократии исключает и осуждает подобные довоенные идеи.

е) Великой целью практической славянской политики будущего будет и должно быть *приобретение для всех славянских народов и культур нового места в европейском мире*. Славяне, как целое и как отдельные народы, не расцениваются так, как это должно было бы быть. До известной степени это является естественным последствием до сих пор существующего экономического, политического и культурного состояния славянства; конкретной целью славянской взаимности будет изменение этого положения.

Дело заключается в том, *чтобы в будущем мир не смотрел на славянские народы, как на менее ценные*. Отдельные славянские народы должны помогать друг другу в борьбе за новые позиции, в особенности в культурной и духовной областях. У славян есть право и обязанность добиваться и, в конце концов, добиться, сообразуясь с справедливой умеренностью, такого же положения, какое имеют теперь романцы, англосаксы, германцы, латинские югоамериканцы и иные.

Я признаю законным лишь одно завоевание — *борьбу и завоевания в области культуры*. Здесь мы должны превзойти всех. В этой области у славян может и должна быть одна общая цель. Такие стремления современный демократический идеал допускает и даже требует. Здесь народы могут и должны искать свое величие и славу. Это ведь гуманный идеал, а для всех великих славян славянская идея была прежде всего человечностью. *В этом заключается еще один конкретный и ясный пункт программы будущего славянского объединения.*

43. У России было особое положение во всех вопросах и идеях славянской политики. В панславянских, славянофильских и панрусских планах это было основой самой доктрины; в неославянофильстве это было частично традицией, а частью стремлением правых кругов завлечь неославянофильство обратно в старые славянофильские и реакционные воды, частично же это было выражением политической действительности: Россия была величайшим славянским государством, Польша и Чехословакия не существовали, над Балканами Россия по особым причинам простирала свою покровительственную руку. Кроме того, русские являются самым многочисленным славянским народом, это было и есть. Таким образом, естественными фактами легко объяснялось то, что у России было особое положение в славянской политике.

Однако, теперь целый ряд подобных предпосылок совершенно исчез. Следовательно, и будущее славянство должно из этого делать свои выводы. Прежде всего тот факт, что будущее славянство стоит на почве демократической, международно - демократической, принуждает нас определять иначе, чем это делалось ранее, положение России среди остальных славян. Но ведь и демократическими принципами нельзя покрыть тех данных, которые из довоенного времени были перенесены и в современность и которые и теперь еще обеспечивают России особую позицию среди славян. Постараюсь определить их.

В славянской политике будущего Россия не сможет взять на себя ту *роль покровителя*, которую ей предназначали почти все довоенные пропагандисты славянской идеи. Эта роль протекла за сама собой из довоенного положения славянства. Благодаря изменению всего европейского положения и тому факту, что перед Россией оказались независимые государства — польское и чехословацкое — и окончательно освобожденные от турок Балканы, а также и благодаря новым идеям демократической международной политики, *окончательно уничтожается идея России, как покровительницы славян*. Она не может быть воскрешена уже из-за положения, которое ныне занимают славяне по отношению к немцам; во первых, Россия, не являясь более непосредственной соседкой Германии, уже не имеет столь частых поводов к проникновениям, у них могут быть даже некоторые общие интересы —

по крайней мере временные —, обращенные против других славян (поляков), во-вторых, Россия, как держава, может быть по отношению к Германии и к остальным славянам лишь в том же положении, что и Франция.

Существуют, однако, и иные серьезные доводы против русского протектората. До тех пор, пока славянские народы не были независимыми, это покровительство могло быть более или менее приятным; прежде всего оно носило моральный характер, было скорее теоретическим и не проявлявшим себя в практической, ежедневной политике, и мало или совсем не касавшимся внутренних дел того или иного народа.

С независимым государством дело обстоит бы сложнее. Ярким доказательством этого является история стамбуловщины в Болгарии. Время от времени чувствовалось это и в Сербии, что и вызывало споры. Только представить себе, что бы это означало у нас и в Польше. У нас сейчас же взбунтовались бы партии, которые бы от этого страдали, и все это вызвало бы скоро кризис в наших отношениях к России. (Только представьте себе наших социалистов, если бы в России был правый строй, или наших католиков в религиозных вопросах; мы видели теперешнее отношение наших национал-демократов к коммунистам и т. д.). Таким образом, отношение России к независимым государствам должно быть иным, чем себе представляли довоенные пропагандисты славянской идеи по отношению к поработленным или необъединенным государствам.

Однако, наиболее серьезные доводы против старой концепции заключаются не в этом — они в самой России.

Современная и будущая Россия не будет лишь славянским государством. У нас пока нет точных сведений и статистики по вопросу о том, что представляют из себя теперь в национальном отношении Советские Соединенные Штаты. Факт, однако, налицо, что там имеются миллионные инородческие массы (турки, татары, евреи, немцы, грузины, армяне и т. д.); современный режим дал им довольно широкую автономию, которая, бесспорно, удержится и в будущем. Как будет внутренне развиваться Россия в этом отношении — трудно предсказать. Бесспорно, однако, что все эти национальности будут иметь большее влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, чем имели ранее, или иными словами — в будущем Россия по всей вероятности будет менее славянским государством, чем была им внешне при монархическом режиме. Это будет иметь влияние на ее отношения к славянам и на ее так называемую славянскую политику.

С этим связан еще один важный факт, который был действителен для прежней России, но с которым довоенные пропагандисты славянской политики не достаточно считались: новая Россия, по крайней мере столь же, если не больше, чем прежняя Россия, бу-

дет осуществлять свои жизненные интересы вне Средней Европы, то есть вне сферы славянской политики. Путь на Запад окончательно закрыт для России воссозданием Польши, консолидацией жизненных условий в Средней Европе (Румынии, Венгрии, Чехословакии) и разрешением балканских вопросов; это будет особенно чувствительно, если будут осуществлены планы некоторых держав относительно Константинополя, то есть, превращение его в международный город.

Таким образом, России не остается ничего иного, как стремиться направить прежде всего свою политику в сторону Азии; это будет необходимо прежде всего уже потому, что современный русский режим делает все, чтобы пробудить азиатские народы и подготовить их к борьбе с английским владычеством (однако, эта борьба может, в конце концов, повернуться против русского же владычества в Азии). Иными словами это означает, что главные и жизненные интересы России и русского народа в будущем не будут в области так называемой славянской политики, но где то в совершенно ином месте. В будущем Россию будут занимать больше Азия, английские колонии, Япония, Дальний Восток, Тихий Океан, Северо-Американские Соединенные Штаты, чем Польша, Румыния или Балканы. В этом отношении Советы ведут себя более по русски, более широко, чем это хотят признать их противники. Это вполне естественное и при этом правильное развитие, для России оно более легко, для мира в Европе менее опасно. Кроме того, я уже выше указывал, как отнеслась бы вся Европа к попытке протектората или к славянской федерации в Европе.

Благодаря этому для России будущего станет характерным то, что можно было сказать и о довоенной России, но чего не хотели видеть славянские идеологи: *так называемая славянская политика была для России всегда или случайным или второстепенным фактом, то есть всегда была лишь малой частью всей русской политики.* Это будет еще более справедливо по отношению к будущей России, и славянство должно с этим соотношаться надлежащим образом.

Мне бы хотелось выдвинуть надлежащим образом этот факт. Мне бы хотелось, чтобы его поняли не только наши и иные славянские обожатели, но, главным образом, и сами русские. Мне кажется прямо смешным хотеть ограничить роль России и русского народа лишь областью так называемой славянской политики, славянской средневропейской взаимностью и т. д. Задача России и русского народа гораздо больше, мировое развитие призывает Россию к более значительной роли; сводить всю эту роль к славянству — это значит хотеть или умалить всю ее политику или сделать ее узко шовинистической.

У России великая человеческая и мировая задача. В этом нет и не может быть ничего враждебного задачам ее совместной работы со славянскими государствами; однако, я бы не хотел, впадая в так часто повторяющуюся у нас ошибку, утверждать, будто главной задачей и миссией России являются заботы о том, нет ли у Чехословакии затруднений с Германией или Австрией и Венгрией, разрешила ли Югославия так или иначе македонский или албальский вопросы. Это ложный и опасный для нас эгоцентризм, так как, в конце концов, он бы разочаровал наши ожидания. Легко бы мог настать такой случай, что Россия пожертвовала бы нами ради своих основных и чисто русских интересов.

Если бы я был русским, то конечно, я хотел бы быть настоящим славянином; *но прежде всего я бы хотел быть русским* и отверг бы такой взгляд на славянскую идею, которая бы сводила задачу России и русского народа или к роли старого националистического покровителя интересов славянских народов или мало-кровного печальника и распространителя так называемого славянского объединения. Я надеюсь, что русские демократы захотят быть прежде всего чехом; само собою разумеется, что в других вопросах, помимо борьбы за славянское объединение, русские захотят быть, прежде всего славянофилами и панрусистами. Демократическая идея выполнит и здесь свое назначение. Уже 80 лет тому назад был прав демократ Гавличек.

Позиция России среди нового славянства будет характеризоваться тем, что она не будет покровительницей остальных народов, что ее миссия и политика не будут ограничиваться так называемой славянской политикой и что она не будет определять цели и поступки остальных славянских государств. Она будет с ними демократически сотрудничать постольку, поскольку определенная часть ее великих международных интересов и планов будет в средневропейской и славянской политике. В славянской политике она будет занимать значительное место, но лишь то, которое принадлежит ей по существу. Если бы дело обстояло иначе, то не будет никакой общей славянской политики. Свободные и независимые государства просто не потерпели бы ничего другого.

Заключение моих размышлений просто, но чрезвычайно важно: прежде всего я отвергаю в интересах великой миссии России всякий славизм и всякую славянскую взаимность, которые непосредственно или по своим результатам превращались бы в обыкновенный руссизм или руссофильство. Ведь это означало бы делать заранее невозможной всякую связь славянства. Она бы сломалась, и прежде всего о Польшу.

44. В связи с этим я бы хотел коснуться одной мысли, которая распространяется у нас некоторыми политическими деятелями и реакционными русскими и нашими кругами: борьбу с боль-

шевиками, по их мнению, необходимо вести прежде всего во имя славянства. Большевики погубили величайшую славянскую державу — Россию; этим они повредили русскому народу и всем славянам, положение которых в Европе было бы совершенно иное, если бы существовала сильная небольшевицкая Россия. Большевикизм был ввезен в Россию в немецких вагонах, это жидовское изделие и т. д.

Разбор этой идеологии с ее предпосылками и заключениями занял бы слишком много времени. Я ограничусь поэтому лишь несколькими замечаниями:

а) Я радикально и принципиально против большевикизма всюду и везде, я противник его экономических теорий, его философии политики, противник его политической практики. Я вовсе не противник современного русского государства, — в особенности, если оно приведет в нормальное состояние свои отношения к остальному миру, но я против его режима так же, как я могу быть против внутреннего строя какого угодно государства, не будучи одновременно против самого государства.

б) Я не являюсь противником большевикизма по каким бы то ни было славянским причинам. Большевикизм не погубил России; большевикизм помогал основательно разрушать старую Россию точно так же, как это делали и остальные русские довоенные революционеры и как над этим поработали различные царские генералы, политики, некоторые ответственные партии и т. д. Прежнюю Россию погубил прежде всего царизм, абсолютизм, старый, довоенный режим. Я не был противником старого режима по каким бы то ни было славянским причинам, несмотря на то, что он довел Россию до современного состояния, так как у старого режима нет никакой связи со славянством, точно так же, как и у большевикизма. Я был против старого режима потому, что он был скверный, по тем же причинам я и против большевицкого режима.

В гибели России и большая доля вины падает на старый режим, в ее современном состоянии большая вина на большевикизм. Я хочу быть справедливым к обоим. Ответственность у старого режима больше, чем у большевикизма, потому что Ленина создал царь, царизм сделал возможным и большевикизм. Не будем же напрасно связывать большевикизм и славянство; это старый, реакционный и невозможный взгляд на славянство. Будем же против большевикизма потому, что это экономически убийственный эксперимент, политически невозможный режим, а культурно средневековый режим; нетерпимость, насилие над духом и телом. Однако, между большевикизмом и славянской идеей нет никакого соприкосновения.

в) Я не хочу устанавливать никакой связи между обоими еще и потому, что вижу, как под влиянием обстоятельств нынешний режим принужден быть с точки зрения русской империи на-

ционалистическим и даже импералистическим и как во многих отношениях он охраняет интересы и потребности русской земли так, что если бы завтра он пал, то новый строй во многих отношениях не мог бы поступать иначе и должен был бы молча подтверждать все то, что спас современный режим. Этим я вовсе не хочу защищать современного русского строя.

Я хочу, однако, еще прибавить, что современный режим формирует психологию и ум целого поколения, что он распространяет в массах новые взгляды, что в его руках вся печать и общественное мнение; если он с успехом борется с неграмотностью, то делает это прежде всего для того, чтобы укрепить среди народа свои взгляды. В этом отношении он достиг некоторых успехов. Мне бы не хотелось, чтобы остальные славянские народы, благодаря созданию новых взглядов и этой пропаганды, были представлены в России в ложном свете и чтобы в современной России создавалось сильное, враждебное будущей славянской политике течение. Я этого не переоцениваю, но и то, что есть было бы трудно в будущем исправить.

Нашей целью должно было бы быть скорейшее упорядочение условий в России, вступление с ней в сношения и подготовка в современной России почвы для идеи совместной славянской работы. Во всяком случае было бы тактично по крайней мере не вызывать в тех кругах русского народа, которые формируют современный строй ненависти к каждому намеку на славянскую полетку тем, что борьба с большевизмом ведется под знаменем славянства. Это не мешает большевизму наносить удар славянской взаимности, и подобно тому, как в том случае, когда пользуются идеей славянства для какой бы то ни было партийной агитации и пропаганды. Это то же самое, что и прежнее преклонение перед царизмом, которым думали помочь славянству. Пусть каждый по своему борется с большевизмом, но пусть при этом никто не касается славянства!

С этим тесно связан вопрос о русской эмиграции. Русская эмиграция, при том огромном несчастье, которое она переживает, окажет огромную услугу себе, России и нам всем, если осознает, что ни при одной великой революции эмиграция никогда не возвращалась на те политические позиции, с которых она ушла. Русская эмиграция уже не будет играть политической роли. Быть может, отдельные личности смогут еще вылить себя в политике. Но в общем ее задача иная — *прежде всего культурная*. Она, по крайней мере, частично сблизила некоторые славянские народы, многому научилась и научила других видеть некоторые стороны русской культуры.

У нас она свободно могла работать в области культуры и науки и в результате своих работ приобрела великие заслуги. Ее задачи ни сейчас, ни в будущем не будут политическими. По-

литика и в небольшевицкой Росси будет вестись новыми поколениями с иными взглядами, идеями, целями и стремлениями.

Эмиграция может сделать очень многое для нового славянства, если поймет все вышеприведенное и если ее молодое поколение хорошо впитает то, что видело у нас, в Югославии и в Западной Европе, если правильно оценит политические, экономические и культурные изменения во всей Европе и в новой России и если будет искать новое славянство в том направлении, о котором мы уже говорили. Как у нас, так и у других славянских народов, старое довоенное славянофильство, к которому взывает также часть современной русской эмиграции, умрет вместе с исчезновением представлявших его поколений.

Заключение.

45. Такова была бы вкратце начерченная программа славянской взаимности в будущем. Ее может принять без колебаний каждое славянское государство и народ. Я не говорю, что уже сама эта программа означает разрешение имеющихся еще политических споров между славянскими государствами, она, однако, поможет их разрешению. Она будет также способствовать тому, что в программу ее можно будет вставить работу на пользу лужицких сербов, причем будет избегнут междугосударственный конфликт с Берлином.

Это практическая программа без больших идеологических планов. Их нет для практического употребления у англосаксонских, скандинавских и романских народов, не нужны они и нам. Зато необходимо быть более практичным и реальным, необходимо лучше понимать дух времени, огромные перевероты последних лет и совершенно новый мир, который создается в России и который будет иметь огромное влияние на изменение политических условий в Европе и Азии.

Эта новая славянская идея не хочет впадать в мистику старого славянофильства. Она берет жизнь и мир так, как он и есть и видит свою главную основу в великой победе демократии, произошедшую благодаря последней войне и европейским революциям. Эта новая славянская идея, освобожденная от всех этих недопустимых идеологий прошлого и вдохновляемая философией современной реалистической демократии, принимает две главные великие идеи из области традиции и принципов всех великих духом героев славянской культуры: Пушкина, Мицкевича, Красинского, Достоевского, Тургенева, Коллара, Шафаржика, Палацкого, Гавличка и Масарика.

Эти две великие идеи из наследия великих славян кажутся мне истинной славянской программой, истинной славянской политикой будущего. Ее я защищаю, за ней пойду и в будущем. В

в этом отношении мои взгляды и принципы на славянство будут всегда вращаться вокруг этих великих философских идей, которые более чем программа, чем система, чем великая идеология, чем философско - историческая конструкция, ибо для зрелого народа и общества они сами являются выражением великой и возвышенной философии истории, при том единой и единственной, несокрушимой и вечно светлой правды; эти идеи:

Демократия и гуманность.

Эдуард Бенеш.

(С чешского перевела Н. Мельникова - Папоушек).

Большевистское отступление.

(Итоги «дискуссии» и Капитуляции)

Русский большевизм одержал новую блестящую победу. «Партия победила» с ликующими трубными звуками возвестила «Правда». На этот раз партия победила, однако, не «ненавистников советского строя и пролетарской диктатуры», а, увы, внушительную фалангу своих же собственных «бывших вождей», тех, кто еще недавно стоял у руля партийного корабля и давал ему направление.

Но победа есть победа, над кем бы она ни была одержана. Факт тот, что «новая оппозиция» (Ноп), потрясавшая своей борьбой «единую» и «единственную» партию капитулировала и разбита. И замечательно еще то, что, вопреки обычаям «империалистических войн», именно после капитуляции посыпались на нее новые жестокие удары. «Ноп» сдалась на милость победителей, а те, заставив ее пройти под унижительным игом, поманив обещанием «отпустить грехи», затем, пабросилась на нее для окончательной расправы. В этой «драке» обе стороны показали себя во весь свой моральный рост, — одни, добивая славшихся, — другие, бросившись позорно на колених вымаливать прощения, предавая соблазненных ими «малых сих», как только пад ними нависла прямая угроза «взысканий» и кар.

Этот безобразный финал во всяком случае показывает, какая во всех смыслах цепа паступившему «примирению» в лагере русских большевиков и что нужно подразумевать под тем вновь обретенным «единством», которое так пламенно воспевают теперь «Правда». Впрочем, XV-ая конференция, уже послужила наглядной демонстрацией его искренности прочности.

Но так или иначе, очередная и на этот раз особенно сильная вспышка раз'едающего большевизм хронического недуга, худо ли хорошо ликвидирована и опять загнана внутрь. Основное и главное во всем этом, однако, не судьба оппозиционеров и не то, какую они изберут в будущем тактику, а самый характер недуга, грозность которого особенно ярко обнаружил последний его реци-

див. Дело не в оппозиции, как таковой, не в Троцком, Зиновьеве, Каменеве и их соратниках, а в тех глубоких причинах, которые уже в течение ряда лет вызывают систематически появление в Компартии оппозиционных течений, после неизбежного подавления, неизменно вновь воскресающих, всякий раз с более широким охватом сторонников и с более резкими приемами борьбы. Покаянка ныне презираемых «бывших вождей», вчерашних полубогов, которых победители с таким упоением втаптывают сейчас в грязь, этих причин не устранил и из жизни не вычеркивает. Они рождены не столь ничтожными или преходящими обстоятельствами, чтобы их можно было искоренить простым приведением к одному знаменателю трусливых лидеров оппозиции.

Между тем, как раз нынешняя «драка» впервые, объединившая в один блок все оппозиционные течения выявила их особенно выпукло и наглядно. Именно благодаря этому накопившиеся в большевизме глубочайшие противоречия, яд которых питает его болезнь, вскрылись во всей их полноте. «Дискуссия», хотя весьма однобокая, тем не менее послужила для них как бы ярко освещенным экраном.

Большевистская оппозиция, начиная от ее первых зародышных форм, до нынешней «ноп» является по существу ничем иным, как своеобразным выражением противоречия между доктриной и практикой большевизма, между тем, что он в теории провозглашает, и тем, что им осуществляется в жизни. Сколько бы ни старались теоретики большинства, валя с больной головы на здоровую, обвинять в уклонах и ересь оппозиционные течения, сколько бы они не утверждали, прибегая ко всевозможным диалектическим ухищрениям, что благодать марксизма и ленинизма почит, яко небесное сияние именно на их головах, им этого основного, окрашивающего собою большевистскую действительность, обстоятельства замазать не удастся. Здесь ведь речь идет не о чьих либо выдумках, а об определенном и явном историческом факте.

Больше того, — в этом так сказать корень вещей, — само противоречие, постоянно углубляющееся, между большевистской доктриной и практикой, вызывающее систематические вспышки оппозиции, порождено другим изначальным и все покрывающим противоречием большевизма, как такового, с условиями России, на почве которых он действует. Первое создало, второе и не могло его не создать. Оно с самого начала коренилось в несуразной безумно — утопической претензии Ленина строить пролетарский социализм и чисто рабочее государство в стране сугубо земледельческой и почти сплошь крестьянской. В теории этот чудовищный логический абсурд как известно, прикрывался утверждением о неизбежном пришествии западной революции, возвратным дви-

жением поднимающей отсталую, но руководимую революционным авангардом Россию до своего уровня, снабжающей ее своими техническими средствами и материальными богатствами.

Но на практике, когда эксперименты пролетарского социализма привели к краху, не оставалось иного выхода, кроме движения вспять. В условиях мужицкой России оно могло выразиться лишь в попытке *некоторого компромисса с крестьянством*. Надо было пожертвовать чистотой доктрины для спасения диктатуры или, во имя соблюдения принципиальной непримиримости, подставить голову под грозно занесенный меч истории.

Большевики, как известно, выбрали первое и тем самым, несмотря на всю диалектическую фразеологию, которую Ленин пытался замаскировать свое отступление, в пролетарском социализме, диктуемой «чистой» идеологией большевизма, оказалась пробитой первая *крестьянская брешь*.

Нэп отнюдь не был уступкой капитализму, как неправильно расценивали его за границей. Ленину незачем было уступать капитализму, которого в России не было. Нэп — по существу и самому характеру своему — *уступка крестьянству*, той самой «мелко-буржуазной стихии», которую согласно первоначальному большевистским догматам надо держать на железной узде.

Допущение частной торговли, частного капитализма явилось лишь побочным результатом уступки крестьянству, тяжелой массой своей папировавшему на диктатуру.

На XI съезде Ленин так и говорил: «капитализм мы допускаем, но в тех пределах, *какие необходимы крестьянству*».

«Допуская торговлю и капитализм», объяснял Сталин уже на XIV-ом съезде партии, «мы делаем *уступки крестьянству* ради сохранения и укрепления смычки с ним».

Как уступку крестьянству, расценивала начало нэпа и первая большевистская оппозиция — и в борьбе против *крестьянского уклона* и был весь ее пафос.

Совершенно естественно было появление такой оппозиции даже против первой формы нэпа в ленинской партии, воспитанной догматически на теориях сугубо - пролетарского социализма, на ненависти к «крестьянской стихии», о которой Ленин еще в 19-ом году писал, что она своим влиянием «развращает пролетариат».

«Рабочая оппозиция» 20-21 года и была первым протестом против изгиба «генеральной линии» партии в сторону деревни. У большевиков, как они сами теперь признаются, долгое время острые вопросы партийной политики обсуждались под псевдонимами. На X и XI съездах, на которых происходила борьба с первой оппозицией псевдонимом был вопрос о профессиональных союзах. Но собака была зарыта не там, на самом деле речь шла об ином. Быть может, именно потому, что тогдашняя дискуссия была

замаскирована, в антибольшевистском социалистическом лагере неверно восприняли суть «Рабочей оппозиции». В ней увидели как бы отраженное движение рабочих масс против деспотизма диктатуры компартии, — на самом деле оно было реакцией против не-па как *компромисса с крестьянством*, со стороны наиболее ревностных хранителей пролетарской чистоты коммунизма. Исходной точкой всей ее критики была оценка уступок деревне, как проявление «недоверия к творческим силам рабочего класса.» В чем обвиняла тогда «рабочая оппозиция» Ленина и его ЦК? Раньше всего в «антирабочей *крестьянской политике*, в невнимании к промышленности». И никто иной, как ныне столь прославившийся Медведев, бросал партийным верхам упрек в том, что они не орабочивают советские руководящие органы в то время, как их политика «по важнейшим вопросам коммунистического строительства имела ряд уклонов в сторону уступок мелкой буржуазии».

Правда, «Рабочая оппозиция» протестовала против подавления пролетарской самодеятельности и выдвигала требование «рабочей демократии», но ее побудительными мотивами была боязнь перед последствиями ослабления узды, накинутой большевизмом на крестьянство. Она проповедывала своеобразную революционно-синдикалистскую программу, в которой главная роль в хозяйстве от партии переходила к профессиональным союзам и добивалась таким путем «приближения пролетарских масс к государству», но именно для того, чтобы парировать опасность растущего подчинения государства интересам мужицких громад России.

По иронии судьбы как раз Троцкий, который вскоре сам должен был поднять бунт против политики партии по тем же, в общем, мотивам, что и «рабочая оппозиция», как раз Троцкий метал в нее громы на XI съезде.

Но еще более интересны принципиальные возражения, выдвинутые в той же речи этим ныне «бывшим вождем», а тогда героем без кавычек, осиянным всем блеском своей «красной» славы. Они уже заранее предупреждали его неизбежный переход на позицию тех, которых он громил за отсутствие партийного патриотизма. «Вспомним, восклицал он, что говорили здесь т. т. Шляпников и Медведев: равняются по крестьянству, *ЦК ищет опоры в крестьянстве*. На самом деле ЦК говорит рабочим: «Для того, чтобы не сорвалась твоя диктатура, ты должен равнять себя по крестьянству». Как видно из этой цитаты, Троцкий косвенно признает, что попытка опереться на крестьянство действительно была бы равносильна измене коммунистическим принципам. Но он ее отрицает, — ЦК не ищет опоры в мужике, а лишь *равняется* по нему, чтобы не сорвалась диктатура до пришествия мировой революции, которая позволит, не считаясь с крестьянством и вопреки ему, строить истинный пролетарский социализм.

Еще в 1922 году в предисловии к книжке «1905» Троцкий

повторяя свою старую теорию доказывал, что пролетариат, захватив власть при помощи крестьянства, неизбежно должен затем вступить во враждебное столкновение с этим самым крестьянством. Отсюда вывод: «противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение *только на арене мировой революции пролетариата*».

Первый нэп Троцкий еще не считал уступкой крестьянству, а лишь маневром, против него же, в конечном счете, направленным. Еще в 1923 г., Троцкий уверял других и самого себя, что «излучина» нэпа отнюдь не является принципиальным поворотом исторического пути. «Теперь, писал он, когда история ставит веху немецкой революции, нэп с несомненностью — почти обязательной — входит в пределы исторического эпизода, зигзага на пути, который от полного господства буржуазного режима ведет к полной и окончательной его ликвидации».

Но «веху» на пути немецкой, как и других возведенных большевиками революций, ставила, увы, не история, а только пылкая фантазия автора. Арена мировой революции пролетариата так и не открывалась, но зато в самой России неуклонно и логически развивались последствия нэпа и в первую голову рост хозяйственной мощи крестьянства и усиление его давления на всю экономику страны. И вот тогда Троцкий в свою очередь испугался мужика и впал в панику. То, что раньше им рассматривалось, как простой зигзаг, теперь стало для него «жупелом». Троцкий начал пророчить гибель диктатуры и как в свое время «рабочая оппозиция», которую он за это громил, напал на политику «искания опоры» в крестьянстве. Его наделавшее в 1924 году столько шуму оппозиционное выступление явилось *второй по счету попыткой борьбы против крестьянского уклона* большевизма против принесения в жертву «деревенщине» пролетарских принципов коммунизма.

По той же странной иронии судьбы, на Троцкого особенно яростно обрушились как раз Зиновьев с Каменевым, которые должны были проделать тот же путь, что и он, — от защиты политики партийного большинства против ее хулителей перейти самим к хулению ее. Оба нынче развенчанных палладина ленинизма усматривали «ошибку» Троцкого в том же, в чем он сам раньше видел заблуждение «Рабочей оппозиции», они в общем в иной лишь форме повторяли прежний аргумент нового оппозиционера.

«Троцкий, восклицал Зиновьев, позволил себе не отход от большевизма вообще, а отход от большевизма в переходный период нэпа». Иными словами это означало, употребляя приведенную выше формулу самого Троцкого, что политика партии не ищет опоры в крестьянстве, а продолжает лишь равняться по нем, чтобы удержать диктатуру.

Каменев, критикуя Троцкого, сам говорил о «нажмем мужиц-

кой демократии на нашу партию, который в той или иной форме будем переживать, если нас от всех опасностей не спасет покрывающая все мировая международная революция».

Когда нэп уперся в тупик, не осуществив смычки с деревней, когда для осуществления этой основной жизненной задачи для большевистской диктатуры оказалось необходимым пойти на новые и более радикальные уступки крестьянству, похоронить «батрацкие иллюзии», провозгласить неонэп и бросить лозунг развития рыночных и в том числе и капиталистических отношений во всей стране, сладкая сказка о «зигзаге», которой убаюкивали тревоги коммунистической совести, кончилась. И это тем более, что теоретики партийного большинства в связи с резкой переменой курса объявили мужика, этот вчера еще «частно - капиталистический элемент», необходимым участником социалистического строительства. Под крешущим давлением деревни «линия ЦК» выгибалась все больше и больше в крестьянскую сторону. И вот тут-то настал черед Зиновьева, Каменева и большинства ленинской старой гвардии, хранящих «пролетарские заветы» коммунизма, «закричать «караул». Огромная и быстро увеличивающаяся фигура мужика на российском небосклоне навела на них величайший страх и на этот раз уже они стали кричать о гибели, если не прекратится «попустительство» ему со стороны диктатуры.

Не было ничего удивительного в том, что оппозиция Зиновьева и Каменева, увлекших за собою наиболее «пролетарски мыслящие» элементы большевизма, вдохнула новый боевой пыл в сердце увядавшего Троцкого, что она оживила все прежние оппозиционные течения и привела, несмотря на кажущиеся и чисто внешние черты их различия, к объединению их в один блок.

У всех объединившихся течений была одна общая исходная точка, различные элементы оппозиции лишь в разное время сделали из нее логические выводы, чем и объясняется то, что они раньше друг против друга боролись. Эта общая исходная точка — отношение к крестьянству, как к *антагонистичной пролетариату и враждебной социализму социальной силе*. Борьба оппозиции от появления ее «первых ласточек» до столь шумевшей НОП была борьбой против нэпа, как *политики уступок «мелкобуржуазной крестьянской стихии»*, несущей смертельную опасность коммунизму.

И не случайность, а вполне естественным является то обстоятельство, что по мере развития и расширения нэпа расширялась и оппозиция. Не случайность и то, что в ее рядах оказались *почти все старые теоретики партии*.

В зарубежной прессе очень много говорилось о разношерстности состава оппозиции, ее идейной и программной мозаичности.

Это несомненно оптический обман, вызванный, вероятно, дальностью расстояния. Идеологически оппозиция вполне едина и однородна. Официальные большевистские писатели утверждают, что ее объединяет «неверие в победу социалистического строительства в нашей стране». Такое утверждение, конечно, полемический выпад, вернее было бы сказать, что оппозиция, во всей совокупности своих направлений, не верит в возможность строить социализм *вместе с крестьянством* и считает, что к этому нужно идти *против него*. Она видит в мужике не союзника, а врага и боится, что мужицкая стихия затопит пролетарские высоты большевизма, если во время грозный подъем ее волн не будет задержан высокими и крепкими коммунистическими плотинами.

Впрочем, и теоретики партийного большинства, обвиняя объединенную оппозицию в неверии в победу социалистического строительства указывали, однако, что идейный источник этого неверия в ее отношении к крестьянству. И надо сказать, характеристика этого отношения дается ими весьма правильно. «Сопоставим, читаем мы в передовой ном. 14 «Большевика», речи Медведева о деревенщине, которую удержать от разорения для нас невозможно, сопоставим их с рассуждениями Преображенского, заключающего крестьянство фактически по ведомству капитализма (частное хозяйство вообще, из которого наша задача лишь «отчуждать») и с речами новой оппозиции о крестьянстве, как капиталистическом классе — это отрицание возможности для пролетариата повести за собой крестьянство и, главным образом, среднее крестьянство по кооперативному социалистическому пути». В этом, собственно, и заключается идейная сердцевина оппозиции.

В той же эмигрантской прессе группа Медведева — Шляпникова, в частности, вызвала к себе особые симпатии. В ее заявлениях о необходимости пойти на большие жертвы капитализму республиканско - демократическим и меньшевистско - марксистским апологетам восстановления буржуазного строя послышалось «что-то родное». Но и тут было большое заблуждение. Шляпников-Медведев не собираются сдавать госпромышленность частному капиталу, ни уничтожать коминтерна и профинтерна. Весь упор их критики все в том же крестьянском вопросе. Они разделяют ту же точку зрения на крестьянство, что и самые крайние элементы новой оппозиции и являются «пролетарски - мыслящими» коммунистами чистойшей воды. Вот, что, например, писал Шляпников в своей статье, в № 17 «Большевика» :

«Эпигоны мелко - буржуазного порядка предпочитают миллионы мелких хозяйчиков крупному капиталу, так как считают последний политически более опасным. Мы же, вместе с В. И. Лениным, продолжаем видеть опасность там, где она действительно налицо, а именно — в мелко - буржуазной стихии. Мы не бо-

имся сказать, что всякие подконтрольные нашему государству крупные предприятия мы рассматриваем по существу, как шаг, более приближающий нас к социализму в сравнении с окружающей нас патриархальщиной и кустарничеством».

Поэтому автор, вместе с В. И. Лениным, предпочитает предприятия подконтрольных предпринимателей мелкой буржуазии и напоминает, как покойный «учитель» подчеркивал угрозу мелко-буржуазной хозяйственной стихии и полагал, что «кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнаруживает свою плененность мелко - буржуазными предрассудками».

Шляпников в известной мере прав, апеллируя к Ленину, который действительно накануне перехода к нэпу делал такой план. Как откровенно рассказал Бухарин еще на XIV конференции, у Ленина было два варианта новой экономической политики: союз с крупным капиталом против крестьянства и союз с крестьянством против крупного капитала. После некоторых внутренних колебаний, уверял Бухарин, Ленин остановился на втором варианте. В действительности же Ленин пытался осуществить первый и в этом был секрет усиленной концессионной кампании большевиков за границей, еще задолго до Кронштадта. Но, когда оказалось, что мировой капитал на удочку знаменитых «жирных кусков» не клюет, пришлось выбрать союз с крестьянством и провозгласить нэп.

В сущности, Шляпников призывал вернуться к первому не-осуществленному варианту Ленина и нэпу, *как политике уступок крестьянству*, противопоставлял политику соглашения с крупным капиталом в форме подконтрольных концессий *против крестьянства*. Ради этого он готов был согласиться на большие жертвы. Между ним и левым крылом оппозиции не было и принципиальных различий в области конкретных программ и требований. Если левое крыло настаивало на усиленной выкачке из крестьянства ресурсов на индустриализацию, то и «правые» стнюдь против этого не возражали, наоборот. Они лишь считали, что на одних крестьянских медяках, как бы энергично не вытряхивать худые мужицкие карманы, далеко не уехать и что необходимо к ним прибавить полновесное золото мирового капитала. Отсюда понятно, почему перед капитуляцией Зиновьев и Троцкий на требование ЦК осудить Медведева-Шляпникова и их группы ответили резким отказом и понятно, почему точно также поступили «правые» Медведев и Шляпников, когда еще на XIV съезде ЦК требовал от них осуждения «левых ленинградцев». Как дисциплинированные члены партии», пишет Шляпников, «мы соглашались работать, но борьбу с оппозицией, *которая указывает партии на кулацкую опасность, объявили гибельной*». Объяснение достаточно ясное и определенное.

Впрочем, стоит лишь прочесть принципиальное заявление даже тех оппозиционеров, на которых облыжно наклеили правый

ярлык, чтобы убедиться в том, что они исходят из абсолютно тех же общих положений, что и левые. Возьмем, например, знаменитое бакинское письмо Медведева. В нем центр тяжести своей критики автор переносит, конечно, на крестьянскую политику партии. Правый Медведев в вопросе о крестьянстве держится еще допотопных ортодоксально - марксистских взглядов, точно он жил все это время на луне. Он до сих пор, даже при советском режиме, продолжает исповедывать пресловутую теорию «фабричного котла», в котором должно вывариться крестьянство. Для него нет сомнения, что мелкое и мельчайшее крестьянское хозяйство, в обстановке пэпа внутри страны и в зависимости от международного рынка, обречено на прозябание в варварских условиях и неминуемую гибель. Все попытки спасти его, помочь ему — *суть реакционно утопические попытки*. Выходом же из такого положения может быть только «развивающаяся, растущая госпромышленность, на арене которой разоряемые массы могли бы найти приложение своих сил и рук». Словом, давно забытое и порядочно таки древняя мелодия фабричной выварки. Что же касается той части «деревенщины», которая способна устоять против разорения и тем избавить себя от варки в котле, то это есть *«деревенская мужицко - кулацкая буржуазия старой формации. С нею у нас ничего, кроме жестокой борьбы, быть не может»*. В этом, гордо заявлял Медведев, «основная суть наших разногласий в вопросах хозяйственной политики партии». Его же собственная политика необычайно ясна: одна часть крестьянства обречена на неминуемую гибель и должна наполнить ряды пролетариата. Ее бесполезно поддерживать, наоборот, — надо лишить ее всякой помощи, являющейся реакционно - утопической попыткой, и тем ускорить ее пролетаризацию. С другой же частью крестьянства — непримиримая война. Эту политику автор противопоставляет пэпу, как направленному, по своему содержанию и характеру, «к укреплению и развитию мелкого крестьянского хозяйства». Борьбой против такого уклона Медведев и Шляпников надеялись вернуть партию на чисто пролетарскую стезю и избавить ее от опасности политической демократии, создаваемой ростом удельного веса деревни.

Те же сугубо пролетарские ноты звучат и в статье другого правого, ни за что ни про что выгнанного из партии, Осовского. Осовский констатирует, что советское государство не чисто пролетарское, а рабоче - крестьянское, причем удельный вес крестьянства увеличивается в нем в ущерб пролетариату. Крестьянство же он, естественно, рассматривает, как частно - капиталистический класс. Автор признает, что в виду вынужденного обстоятельствами экономического отступления авангарду пролетариата ничего другого не оставалось, как удовлетвориться руководством на компромиссных началах с крестьянством. Он готов признать даже, что нынешняя генеральная линия партии в той или иной

мере правильна. Но тем не менее так как в основе ее лежит все же компромисс между интересами пролетариата и частно-капиталистического хозяйства, то она не может пользоваться *беспредельной поддержкой пролетариата*. По Осовскому, задача последнего и заключается в том, чтобы добиваться медленного, но верного смещения «центра нашей руководящей линии в сторону пролегарского хозяйства — к социализму». Именно в виду того, что в эту линию вкраплены частные капиталистические элементы, которые напротив стремятся смещать ее центр в свою сторону, то пролетариат должен быть постоянно на чеку, чтобы давать отпор атакам этих вкрапленных элементов. А потому нужна здоровая рабочая классовая критика своего же государства, пока еще не рабочего, а лишь рабоче-крестьянского. Поэтому Осовский требует свободы фракций в партии, ибо единственная партия, при наличии разнообразия экономики, приводящего неизбежно к проникновению в нее влияния разнообразных экономических интересов, не может быть чисто пролетарской, а, следовательно, и единой. Поэтому, он готов даже легализовать меньшевиков и эсеров, великодушно предоставив им роль защитников частно-капиталистических интересов в стране, конечно, в пределах, допускаемых пролетарской диктатурой, чтобы путем идейной борьбы с этими партиями оттачивать боевое пролетарское сознание коммунистических масс. Это в иной форме и весьма заумно выраженная все та же теория войны против крестьянства.

Отсюда понятно опять таки, почему правый Осовский так пламенно защищает левое крыло оппозиции и негодует по поводу того, что на XIV съезде генеральное руководство партией командовало огнем влево». «Это, говорит он, означает культивирование политической слепоты так называемого штиля среди пролетариата».

Правое крыло поп встречалось с левым крылом в том, что, противопоставляя социализму частное капиталистическое хозяйство, включало в последнее и крестьянство, вынося его за одну скобку со всеми разновидностями буржуазии и не делая различия между ним и ими. Оно встречалось в том, что причисляя крестьянство к частно-капиталистическим элементам, высказывалось в общем за одинаковую политику партии как к крестьянину, так и к изпану. Нужно признать, что, валя в одну кучу капиталиста и мужика, оппозиция лишь повторяла ортодоксальные взгляды «прежнего» Ленина. И большинство, обороняясь против нее, в этом пункте могло лишь выдвигать заимствованные у всеров аргументы и с апломбом повторять пародническую ересь: «Крестьянин не капиталист, а только простой товаро-производитель», т. е., как раз ту точку зрения, которую Ленин в свое время, неистово опровергал. В своем увлечении писатели большинства дошли до того, что, например, журнал «Печать и Революция», пишущее

го эти строки уличил «в трогательном совпадении взглядов с оппозицией», в виду его утверждений, что большевики, как и все марксисты, исповедывали теорию пролетаризации крестьянства *)

Не приходится поэтому удивляться и тому, что конкретные требования, касающиеся крестьянства у всех направлений «нои» в существе своем не отличались. Их острое, можно сказать, прямо было приставлено к груди все того же злосчастного мужика. Медведев, например, остроумно предлагал направить на развитие крупного государственного хозяйства те средства госбюджета, «которые идут на поддержку мелко - буржуазного хозяйства, состоятельной части крестьянства и на поддержку указанных утопических иллюзий и мелкого хозяйства». Осовский требовал немедленного приступа к использованию частных накоплений страны, — читай и крестьянских, — для промышленного строительства и пугал, что в противном случае «мы не найдем выхода из нынешних острых затруднений без серьезных уступок частному капиталу». Преображенский настаивал на дополнительном отобрании у крестьян 300 миллионов пудов хлеба, потому что, мол, все равно хлеб бесполезно гниет у крестьян в закромах и его едят мыши. А зинovieвцы и троцкисты «научно» доказывали, что путем обложения крестьянства дополнительными налогами и повышения отпускных цен на промтовары можно выкачать из деревни лишний миллиард.

Все эти требования стрижки с мясом мужика мотивировались необходимостью укрепить во что бы то ни стало индустриализацию. Но за ними, конечно, скрывалась другая, открыто невысказываемая мысль: путем нового жестокого нажима на крестьянство ослабить его хозяйственную мощь, подрезать силу этого «классового врага», одновременно с расширением, за счет его пота и крови, командных «пролетарских» высот госпромышленности. В программе оппозиции проступала законченная теория эксплуатации метрополей — коммунистическим индустриальным городом — аграрной колонии — необъятной крестьянской России. Передают, что некоторые последовательные большевики в откровенных беседах прямо так и заявляли, что коммунистическая партия должна вести себя в России так же, как ведут себя англичане в Индии.

Общая всем направлениям оппозиции крестьянофобская идеология объясняет, почему Троцкий сразу выдвинулся, как вождь ее, почему она подпала под гегемонию троцкизма. Мировоззрение Троцкого, у которого линия чисто «пролетарского» социализма была особенно строго выдержанной, дает наиболее последовательное теоретическое обоснование войны с крестьянством, к чему в конце концов, пришли все оппозиционные течения. Отличие Ленина от Троцкого заключалось ведь в том, что Ленин считал кон-

*) См. «Печать и Революция» № 6. «Самочувствие эмиграции. Воля России».

фликт рабочего класса с крестьянством не неизбежным, в то время, как Троцкий твердо стоял на том, что конфликт этот обязателен. Впрочем, и пресловутая теория перманентной революции Троцкого исходит из неверия в строительство социализма в России внутренними силами ее, а это неверие свойственно всем течениям оппозиции. Характерно, что и в области международной политики правые и левые, хотя исходя из неодинаковых соображений, выдвигали одинаковое конкретное требование: упразднение англорусского комитета. Правые считали его препятствием для действительного сближения большевиков с западным пролетариатом, — левые, наоборот, видели в нем продолжение тактики «единого фронта», ныне ими осуждаемой. Но и тех и других объединяло, однако, убеждение, что только мировая революция может обезпечить победу социализма в России.

Борьба «Ноп» явилась бессмысленной попыткой, во имя смягчения углубляющегося противоречия между теорией и практикой большевизма вернуть партию к началу того основного исторического противоречия — пролетарский социализм в крестьянской стране, которое именно и заставило большевиков, чтобы не сорвалась диктатура, дать задний ход. Призыв к такому возвращению после уже проделанного длинного пути отступления явился, пожалуй, еще более безумно утопическим, чем первые ленинские эксперименты над Россией. Но в том то и дело, что стремление сохранить верность «чистой» доктрине большевизма неизменно приводит к самому дикому утопизму жизни.

Чтобы иллюстрировать гибельность последствий выгиба генеральной линии в сторону крестьянства, оппозиция и старалась показать, что никакого социализма в России не осуществлено. Именно для этого подвергала она жесточайшей критике тот экономический строй, который создан в СССР в результате расширения нэпа и выясняла, сколь глубоко противоречат его начала принципам подлинного социалистического строительства. Именно для этого она со злорадством указывала на развитие и укрепление буржуазных элементов в хозяйстве, на рост частично-капиталистического накопления и разоблачала, что «в экономике идет буквальное наступление на рабочий класс путем понижения уже достигнутого им уровня заработной платы». Некоторые оппозиционные лидеры ставили даже под сомнение самое существование диктатуры пролетариата, пугая затоплением крестьянской стихией низовых советов (Троцкий).

В своей критике всего строя советской России и выявления его несоциалистического характера оппозиция была очень сильна. Здесь она поистине имела под ногами твердую почву. Но сумела ли она доказать, что в российских условиях, в «отсталой»,

по выражению Троцкого, стране, с подавляющим преобладанием крестьянского населения, коммунистическая диктатура, для которой *suprema lex* лишь бы не сорваться, могла бы привести к иным результатам? Сумела ли она доказать, что у компартии имеется свобода выбора иного пути, чем тот, по которому она шествует, пути, обеспечивающего строительство классового «пролетарского» социализма? — Нет, этого оппозиция доказать не сумела. Тут она обнаружила полное бессилие и идейную растерянность. И здесь то и была ее Ахиллесова пята, в которую впились отравленные стрелы большинства, фактически убив ее еще до ее политической капитуляции.

Правда, оппозиция выдвинула свою, из лоскутков составленную программу, но чудовищная утопичность ее была столь явна, что критикам сталинского лагеря ничего не стоило разнести ее вдребезги. Экономически, эта программа, совершенно неучитывавшая подлинной хозяйственной обстановки, была неосуществима, политически, попытки ее применения неизбежно привели бы к резкому столкновению с крестьянством и опаснейшим последствиями для диктатуры. Оппозиция издевалась над сталинской «вездной социализацией» и высмеивала теорию победы социализма в России без мировой революции. Но имела ли она смелость утверждать, что мировая революция не за горами? Тоже нет. Зиновьев что-то лепетал о том, что полоса стабилизации капитализма копчилась, но никаких определенных тактических выводов из своего утверждения не делал, сознавая, повидимому, слабость своей собственной аргументации. Таким образом, нападая на партийную линию, как ведущую к росту капитализма, но не будучи в состоянии наметить скольконибудь реальной иной линии, оппозиция сама себя загоняла в глубокий идеологический тупик. Из ее посылок, из ее отношения к крестьянству, из ее заявлений о невозможности социалистического строительства в одной стране логически вытекал один только вывод: неизбежность капиталистического строя в России. Но упорствуя в своих посылках и требуя, рассудку вопреки, «пролетарского социализма», оппозиция обнаружила себя, как запутавшееся в собственных противоречиях, абсолютно беспочвенное течение. Она явилась очень крупным эпизодом в исторической драме перерождения большевизма, под давлением противоречащей ему действительности. Но остановить это перерождение ей, конечно, не было дано. И вот в этом ее рок.

Но далеко не в блестящем положении оказалось и победоносное большинство, столь неумеренно радующееся своей победе. Оппозиция была бессильна вырвать у него из рук руль, но она все же нанесла ему довольно сильные удары и порядочно так изодрала мантию лже-социализма, в которую оно драпируется. Сталинские реалисты тоже не могли защищать свои позиции,

не сходя с пути реализма. Чтобы оборониться от атак оппозиции, бывшей их по слабому месту, они могли лишь противопоставить утопической программе своих противников столь же утопическую оценку советской хозяйственной действительности. И в этом роле большинства, в этом сказалося его собственное идейное бессилие. Беда его в том, что оно само является пленником той догмы, против нарушения которой воевала оппозиция. Оно ведь тоже официально верует и исповедует, что коммунистическая диктатура в крестьянской стране может и должна осуществлять пролетарский социализм. В ответ на критику оппозиции ей поэтому не оставалось ничего иного, как, вопреки очевидности, утверждать, что социалистическое строительство в России на полном ходу и, проделывая наивные словесные фокусы без успеха убеждать, что черное — бело. Но крик оппозиционеров: — «А король то наш гол!», — свое дело сделал: наготу короля увидели даже те, кто раньше находился под гипнозом слова. И получилось, в общем, следующее. Социализма нет, тот путь, на который с момента вала вступила компартия, ведет в совершенно другую сторону, с исчерпывающей убедительностью выясняла оппозиция. Иного пути нет и быть не может, столь же убедительно доказывали противники оппозиции. Большинство, таким образом, в свою очередь очутилось в не менее глубоком идеологическом тупике, выход из которого запирается догмой.

Оппозиция, разрушая легенду о социалистичности советского хозяйственного строя, а большинство, разоблачая утопичность оппозиционных программ, совместными усилиями лишь выявили тот общий тупик, в который попал весь большевизм, как таковой, в результате краха ленинизма. Обе стороны своей взаимной борьбой лишь подвели под ним черту.

Определяющая идея Лепина — создание сверху усилиями революционного авангарда социалистических форм жизни, независимо от степени подготовки страны, к такому «высокому прыжку», потерпела полное банкротство. В этом, в конечном счете, и заключалась подоплека драки в компартии, осветившая указальное обстоятельство полным светом. Но крах ленинизма, естественно, должен был вызвать и внутренний кризис диктатуры.

Диктатура в системе ленинизма, как известно, занимает центральное место. Ее оправдание и назначение — руководство социалистическим строительством. И по мере успешного осуществления этой задачи должна крепнуть и расширяться под диктатурой ее база. Ибо Ленин исходил из того, что рост элементов социализма в стране уменьшит разнообразие ее экономики, противоречившее монополистской системе «единственной партии», с другой стороны, усилит хозяйственную власть диктатуры, ее роль

верховного распорядителя и регулятора всей производственной жизни. Крах ленинизма и означает, что эти основные условия, необходимые для оправдания и упрочения диктатуры не осуществились. Большевизм не двинул страну на путь непосредственного социализма и не привел к растущему однообразию экономики. Система провалилась и от нее осталась лишь внешняя оболочка.

Тот социально - экономический строй, который на-лицо сейчас в России вовсе не создан усилиями одних большевиков, несмотря на всю неограниченность их диктаторской власти: он является результатом взаимодействия двух основных факторов: исторических особенностей России, с которых революция сняла придавившую их плиту самодержавия, и большевизма, стремившегося, вопреки им, выводить новое здание по своим собственным, утопней продиктованным, фантастическим чертежам. И получилось вовсе не то, что хотели создать большевики. Их старания дали совсем не то, чего они ожидали. Получилось нечто совершенно своеобразное, столь же противоречащее тому, что проповедывал большевизм, как и предвидениям социалистических теорий. Не социализм и не капитализм. Утверждение о том, что в СССР под обманчивым большевистским фасадом складывается будто бы крепкое капиталистическое общество, является или полемическим приемом или плодом слишком легкомысленного, чересчур уж трафаретного подхода к сложной российской действительности.

Верно то, что во всем производстве страны, во всей совокупности его разнообразных отраслей совершенно отсутствуют какие бы то ни было социалистические элементы. Земледелие держится на индивидуальном хозяйничаньи миллионов мелких, трудовых крестьян, госпромышленность работает на основе хозяйственного расчета, в области обмена, как в городе, так и в деревне, господствуют рыночные отношения, валютная система и кредит построены на самых настоящих классических буржуазных принципах. Но наряду со всем этим, в России отсутствует и частная собственность на землю и средства производства и обмена, то есть начало всех начал капиталистического общества, тот фундамент, из которого и на котором вырос капитализм и без которого он немислим. Больше того, в России, на ряду с наличием капиталистических форм производства, отсутствует и настоящая буржуазия, владеющая средствами производства и направляющая хозяйственную жизнь в то время, как основная масса населения состоит из трудового крестьянства и сильной прослойки пролетариата.

В виду таких смешанных черт социально - экономического строя России его скорее можно было бы охарактеризовать, как своего рода промежуточный — между капитализмом и социализмом — трудовой строй, если бы трудящиеся массы были политически свободны, если бы они могли самостоятельно управлять судь-

бамп страны и ее хозяйством и свободно накладывать свою печать на экономическую эволюцию. Этому строю, в котором по мере его оформления усиливается разнообразие экономических интересов и потребность в их самостоятельном отстаивании, большевистская диктатура, рассчитанная на другие общественные откошения, все менее и менее соответствует. Упорствуя в всегда бесплодных попытках проведения собственных всегда утопических хозяйственных планов; подавляя личность, насильственно навязывая стране штампованную, казенную идеологию, она парализует возможности творческого развития этого строя и замыкает его в какой то поистине зловещий порочный круг.

Большевики не могут оправдывать свою диктатуру даже опасностью в случае ее упразднения, возврата капиталистического господства. В виду особенностей социальной структуры России и самого содержания громадной революции, которая ее преобразила, народовластие означало бы переход управления государством в руки трудовых классов, а не буржуазии, которой имеется пока что лишь ничтожный суррогат. Более, чем вероятно, что при таких условиях, вопреки научным предсказаниям зарубежных экономистов, трогательно поющих в унисон большевистским запугиваниям призраком капитализма, нынешний социально - экономический строй СССР был бы сохранен в главных своих линиях. И раньше всего уже потому, что, как уже указывалось, создан он вовсе не по плану большевиков, а в значительной мере самой народной стихией, разрушавшей в основных частях архитектурные замыслы большевизма. Но из него, несомненно, были бы удалены его уродливые стороны, было бы отсечено все, что в нем не жизненно, что сохраняется в ущерб очевидным интересам страны только для пускания пыли в глаза или как жертва идолу догматизма. Вместе с тем перед ним действительно открылись бы вольные и широкие перспективы развития и роста, экономического и культурного под'ема.

Партийный эгоизм и официальная доктрина запрещают, однако, большевикам это признать. А, между тем, во взаимодействии двух факторов — своеобразии России и большевизм — сила первого все возрастает, а сила второго все ослабевает. Это капитального значения обстоятельство получает свое отражение в том, что диктатура терпит растущие неудачи в осуществлении задач, которые она себе ставит, что ее реальная власть сокращается, что вместо того, чтобы регулировать, она сама подвергается регулированию, что во имя самосохранения она вынуждена гнуться «на сей, то на оный бок», и, упираясь, уступать давлению требований жизни, противоречащих ее назначению и целям.

Если на арене политики при господстве деспотического режима это давление не может открыто проявляться, то тем более

острые и опасные формы принимает оно в самой чувствительной области — в экономике. Планы большевиков то и дело проваливаются, то потому, что «крестьянство схватило нас за руки», то потому, что «мы не сочетали своих курсов с крестьянской лошадкой», или по той причине, что крестьянство «обладает способностью замыкаться в свою скорлупу при невыгодной для него рыночной конъюнктуре». В одном из своих выступлений оппозиционер Смилга — один из тех, кто недавно еще руководил аппаратом госпромышленности, — очень ярко охарактеризовал это положение. «Мы вступаем в такой период, в такой этап, когда те противоречия, которые наметились после 1925 года, *преподаются хозяйственно нам в более высокой обстановке, так сказать стычке различных групп и классов. Они чем дальше, тем больше будут принимать более острый характер*». «Правда» по этому поводу испуганно воскликнула, что из такой оценки выводом является неизбежный крах диктатуры. Крах или не крах, но факт тот, что несоответствие ее действительности быстро растет, а по мере этого роста *обнаруживается все более бессилие ее выполнять то назначение, кот. намечено ей системой ленинизма*. Именно вот это, независимо от персональных интересов и комбинаций, питает критику оппозиционных групп компартии, и вызывает в ней ожесточенную борьбу *за руководство диктатурой*, борьбу, одним из наиболее резких проявлений, которой и явилась вынешняя оппозиция. Таким образом, мы присутствуем при чрезвычайно парадоксальном явлении: несоответствие между диктатурой и жизнью сокращает силу ее влияния на жизнь, последнее углубляя противоречия — между теорией и действительностью — приводит к драке в самой компартии, а драка в этой партии, осуществляющей диктатуру, естественно создает настоящий и острый политический кризис. Такими обходными извилистыми путями в запутанных и замысловатых в российских условиях действует логика истории.

Что кризис, пережитый большевизмом, был по своему внутреннему смыслу и кризисом диктатуры, об этом ярко свидетельствовали обращенные к большинству требования оппозиции. Ее лозунг — свобода критики и фракции в компартии явился в условиях диктаторского режима несомненным революционным лозунгом, подкапывавшимся под самый его фундамент. Свобода критики, хотя бы в пределах правящей партии, критики власти, державшейся только на подавлении свободы, не может не минировать самой этой власти. Гласная критика, от кого бы она ни исходила, органически отрицает тот принцип, воплощением которого является диктатура и с ней не совместима. И нужно сказать, что даже та полусвободная критика, право которой захватило было

явочнымъ порядкомъ оппозиция, нанесла диктатуре жесточайшие раны, от которых она не оправится. Впервые за девять лет, в насильственно приведенной к молчанию стране раздалось открытое, резкое обличение властвующих и раздалось из уст тех, кого еще недавно подданные СССР обязаны были считать чуть ли не небожителями. Впервые перед населением была продемонстрирована опытнымъ руками во всем ее безобразии, отталкивающая закусисная сторона компартии и впервые взаимными обвинениями с этой страдающей манией величия партии был сорван ее ложный ореол непогрешимости. Такие вещи не забываются и бесследно не проходят. Оппозиция, в этом отношении вопреки своим субъективным намерениям, явилась, правда, искажающим и неверным, но все же как бы рупором всех живых сил России, задыхающихся в атмосфере насилия и беззакония, жаждущих струй свежего воздуха. Ее выступления не могли, конечно, не всколыхнуть их, не произвести на них возбуждающего влияния, а ее разоблачения, конечно, проникли довольно далеко и в рабочую и крестьянскую среду, давая толчек к усилению в них критической мысли. И здесь опять перед нами результат тех же парадоксальных российских условий. Оппозиция выдвинула программу опаснейшего утопизма, направленного против основной массы народа и требовала такой перемены курса, которая предполагала неизбежное усиление диктаторского гнета. И вместе с тем своей борьбой против большинства она, сама того не желая, явилась положительным моментом в общем процессе преодолевания диктатуры страной.

В зарубежной печати долго тянулся спор о том, кто лучше, Сталин с Бухариным или Зиновьев с Троцким. Спор этот был совершенно бессмысленным. Эмигрантские публицисты и политические группировки не собирались ведь содействовать победе той или иной стороны в зависимости от решения этого вопроса. Да если бы, допустим — невероятное — и возымели такое намерение, то все равно не могли бы. В таком же, впрочем, положении находилось и население в самой России. Борьба не происходила на широкой арене общественности и в ней не могли участвовать силы страны, а на узкой арене компартии и только между ее членами. И она шла не во имя интересов тех или иных социальных групп, а за руководство диктатурой, против всей страны в целом направленной. Населению в этой драке места не было, хотя результаты ее могли так или иначе отразиться на его спине.

Для борющихся в России во имя свободной и разумной трудовой государственности социалистических элементов, задача заключалась поэтому не в поддержке большинства или оппозиции, а совершенно в ином.

Она была в том, чтобы сопоставляя противоречия, которые обе дравшиеся стороны так великолепно выявили одна у другой,

показать съ наглядной очевидностью ложь всей официальной большевистской идеологии и крушение политики, которая ею определяется. Она была в том, чтобы использовать богатый материал, данный оппозицией, для характеристики существа компартии и царящих в ней нравов и взаимоотношений, для разоблачения всего того — неслыханного режима удушения и хищничества, сыска и произвола, который такая партия без всякой могущей быть оправданной цели увековечивает в России. Капитуляция оппозиции этой задаче отнюдь не упразднила.

Означает ли подавление «поп» по которой октябрьская конференция отслужила уже панихиду, вступление компартии на путь выздоровления? Означает ли оно, что у нее скоро появится здоровый румянец на щеках? Думается, что даже сам увлекающийся Бухарин такого оптимизма не разделяет. Внешне как будто пережитый кризис был очень болезненной конвульсией в процессе эволюции большевизма, приспособляющегося ценою внутреннего перерождения к условиям жизни. Эволюция его в этом направлении все дальше в сторону от коммунистических принципов — неизбежно будет продолжаться, а победа над оппозицией, не зависимо от того, какие меры временно по тактическим соображениям станет проводить Сталин, без всякого сомнения лишь ускорит ее темп. И с этим ускорением на ряду с определяемыми ими уступками «мелко буржуазной стихии» внутри будут сопряжены и решительные уступки иностранному капиталу, обуздание или даже фактическое сведение на нет коминтерна, перемена ориентации всей внешней политики от взрывания капиталистического мира к соглашению с ним. Тем самым в виду неотвратимого отступления на более широком фронте пропасть между теорией и практикой большевизма тоже неотвратимо станет еще глубже. Появление новой оппозиции, быть может, в иной форме и углубление хронического кризиса большевизма предопределяется поэтому самым направлением его эволюции. Не исключена возможность, что в ее будущих рядах не очутятся и некоторые из тех, которые теперь в борьбе с оппозиционным драконом, изображали Георгия Победоносца, как это в свое время случилось с Троцким, потом с Зиновьевым и Каменевым и т. д. Мы уже знаем, впрочем, из опыта прошлого, что подавление очередной оппозиционной вспышки отнюдь не препятствовало появлению через некоторое время новой, более серьезной оппозиции. А наряду с этим, по мере ускоряющегося отступления, еще более, конечно, усилится в стране столь роковое для большевизма разнобразие экономики, разрушающее под ним фундамент его господства. Выражаясь языком Смилги, уроки диктатуры «будут преподаваться все в более высокой обстановке». Путь отступления, чтобы не сорвалась диктатура, неуклонно подготавливает таким образом

еще более сильные и опасные нажимы на нее изнутри и снаружи. И чем дольше будут упорствовать большевики в стремлении продлить дозволенные исторические сроки, тем более будут накапливаться и обостряться, как это было и с самодержавием, несущие им гибель противоречия. Упорство в сохранении диктатуры до скончания веков при обостряющемся конфликте с ею самою же создаваемыми общественными отношениями может кончиться рано или поздно катастрофическим взрывом. Большевизму не дано, как думают некоторые, мирно переродиться в бонапартистскую диктатуру. Такое диалектическое превращение в свою противоположность, мыслимое в абстракции, в жизни наталкивается на слишком непреодолимые препятствия.

История, правда, оставляет большевизму один шанс, хотя и зависящий от многих случайностей: спуск на тормозах к демократии, такой спуск, при котором сами большевики, преобразаясь в самом процессе его, приспособились бы к новым условиям и избегли бы того риска, который несет им в целом революционная ликвидация нынешнего режима. Но хватит ли у них исторического чутья, чтобы не пропустить пужного момента? От этого в значительной мере зависит и будущее направление судеб нашей родины.

Е. Сталинский

Политические заметки.

Задачи социалистического движения в России. Связь политической и социальной проблемы. Политическая борьба при самодержавии и теперь. Роль интеллигенции.

«Как можно говорить серьезно о социалистическом движении в современной России?»

«Ведь советское правительство и без него пытается осуществить социализм.

«Оно для этой цели использует свою безграничную власть, все доступные ему ресурсы страны. Оно имеет в своем распоряжении такие средства воздействия на различные классы населения, к каким не смеет прибегать ни одно буржуазное правительство.

«Социалистическое движение предполагает борьбу с силами враждебными социализму, занимающими в обществе и государстве, как выражаются большевики, «командные высоты».

«В России же все высоты заняты «строителями социализма». Против кого же вы предлагаете двигаться?»

«Далее: господа «строители» своими нелепыми и бездарными опытами привели лишь к тому, что исчезли и те малые социалистические возможности, которые имелись в России до их хозяйничанья.

«Не социализм, а новый капитализм буйно растет на развалинах старого дворяно - полицейско - буржуазного строя.

Если не удалось большевикам, то не никаких оснований, чтобы удалось эсерам двинуть хозяйство и культурное развитие России по пути социализма.

«У социалистов в настоящее время не может быть своих самостоятельных задач вне общедемократической — создания политической демократии, на почве которой современем возродится чисто социалистическое движение».

Таковы возражения, которые мне приходилось слышать по поводу моих предидущих статей о социалистической тактике.

В мои намерения ни в какой степени не входит отрицание важности основной политической проблемы.

Само собою разумеется, главное препятствие для хозяйственного, культурного и политического развития С.С.С.Р. по направлению к социализму это — политическая монополия В.К.П. и все, что неизбежно с ней связано (как со всякой систематической и длительной диктатурой), произвол Политбюро, безответственность властей, обростание, заполнение государственного аппарата шкурническим и просто преступными элементами, отсутствие независимого от власти общественного мнения, воспитание и распространение в правящем классе (вернее — сословии) навыков, ничего общего не имеющих с социализмом, как высшей формой общежития, целый ряд болезненных искривлений и уродств социальной психологии.

Больше того: основное наше разногласие с большевиками заключалось и заключается до сих пор не в том, что они *хотят*, тогда как мы, якобы не *хотим* осуществления социализма, а в том, что мы не приемлем их *политической системы*, основанной на дико утопической вере во всемогущество принуждения и монопольной пропаганды.

Конечно это — не единственное разногласие.

Но, например, вопрос о хозяйственной «зрелости» России для социалистического переворота, при всей своей важности есть вопрос оценки экономических фактов и целесообразности... Он может быть предметом спора, и в пределах социалистической партии. В партии с. р., например, даже после откола «максималистов» оставались весьма влиятельные сторонники коренных социалистических реформ.

Вряд ли столь острый конфликт между социалистами мог бы возникнуть только из за того, что одни считали возможным немедленно национализировать все банки и всю крупную промышленность, а другие предлагали соблюдать известную постепенность, начав с так называемых «ключевых» отраслей промышленности.

Кроме того бессмысленные разрушения, произведенные большевиками в первый период их «социально - революционных» опытов (1918-1921) были результатом не только их экономической неграмотности, но и захлестывавшей их вышедшей из берегов революционной стихии. Известно, что поголовная и бесшабашная «национализация», узаконенная декретом, если не ошибаюсь, в июне 1918 г., не входила в первоначальные планы Ленина. Теперь большевики отказались от «национализации» ветряных мельниц и паркимахерских, допустили «частника» в торговлю и не только в мелкую, но и в среднюю промышленность, а иностранным капиталистам сдают и крупную. Это значительно суживает размах их «революционных» преобразований и приближает их к

программе, которую эсеры выдвигали в 1917 году и которая могла быть без всяких потрясений проведена Учред. Собранием.

Впрочем Ленин не имел вначале никакого сколько нибудь разработанного плана социального переворота и ограничивался несколькими нарочито упрощенным лозунгами, будучи ослеплен миражем мировой революции, для которой Россия должна была стать громадным «детонатором». Все дальнейшие экономические опыты вплоть до бухаринского «обогащайтесь» и «индустриализации» производились ощупью и, что особенно характерно, тоже под давлением стихий, но уже принявшей другое направление.

Наоборот ленинская террористическая диктатура является продуманной политической системой, которая уходит своими корнями в такие представления об обществе и человеке, которые чужды всему современному социалистическому мышлению, как «марксистскому», так и «народническому».

Этой диктатуре должен быть положен конец не только потому, что она пытается насиловать экономические законы, причиняя этим громадный вред стране, но и потому еще, что она ослабляет, деморализует, разрушает те социальные силы, без которых невозможно социалистическое строительство, создает и углубляет новое и худшее социальное неравенство.

**
**

Но, признавая центральное значение политической проблемы, необходимо понять, что ставится она в девятую годовщину октябрьского переворота *иначе*, чем в эпоху борьбы с самодержавием, *иначе*, чем в ноябре 1917 г., *иначе*, чем во время рабочих и крестьянских волнений 1918 года.

А внимательный анализ социального состава современной России, ее государственного уклада и совершающихся в ней хозяйственных, социальных и политических процессов все более и более приводят, к выводу, что разрешение этой проблемы возможно лишь в двух направлениях — контр - революционный, военно - «бонапартистский» переворот сверху или демократическая ликвидация диктатуры снизу — в результате победы *социалистического* движения трудовых масс города и деревни.

Отсюда видно, почему я считаю нужным подчеркивать необходимость возрождения именно *социалистического*, а не только «обще - демократического» движения.

Как мы увидим дальше, это вовсе не значит, что демократия может победить в России, лишь одновременно с осуществлением социализма. Я хочу лишь сказать, во первых, что только социализм в России, как и во всем мире, может стать последовательной, до конца демократической силой, и, во вторых, что для объединения трудовых масс вокруг программы политической демократии

необходимо связать ее с их социальными требованиями и с их историческими, классовыми задачами.

В эпоху борьбы с самодержавием движущими силами политического освобождения были 1) свободолобивая и беспокойная интеллигенция, созданная всей предшествовавшей хозяйственной и культурной эволюцией страны, 2) промышленный пролетариат, на опыте своей классовой борьбы приходивший к пониманию необходимости демократизации государства; 3) крестьянство, стремившееся к ликвидации нетрудового землевладения и к гражданскому и политическому равенству; 4) в известной мере — переловые слои буржуазии требовавшие правового строя и добивавшиеся участия во власти.

Неизбежность *революционного кризиса* предreshалась упорным и тушым сопротивлением привилегированных классов — дворянства, высшей бюрократии, церкви, слабостью буржуазии, вырождением династии и правившей верхушки, нестерпимостью экономического и социального гнета.

Однако конкретная форма этого кризиса (свержение сгнившей на корню монархии), была результатом не развития внутренней политической борьбы, а внешней военной катастрофы.

Каково положение теперь?

Прежде всего, если оставить в стороне удобные полемические упрощения и аналогии (иногда вполне законные, впрочем, как агитационный прием), приходится признать, что еще не сложился (да и не мог сложиться за 9 лет) новый привилегированный и правящий общественный класс, внутренне объединенный сознанием общности интересов, живущий за счет труда экономически подчиненных и политически угнетенных классов.

Пролетариат, именем которого правит В.К.П., конечно, таким классом не является, не смотря на мнимые, чисто декоративные юридические и политические привилегии, которыми его награждает советская конституция. Политически он безправен, материальное его положение с трудом приближается к нищенскому до-военному уровню, массовая безработица в его среде — хроническое явление.

Не является им и сама коммунистическая партия. У этого нового «служилого сословия» отсутствует один существенный элемент, без которого оно не может превратиться в «класс эксплуататоров»: *собственность*.

Конечно внутри компартии не мало «устроившихся революционеров», и новых людей двадцатого числа. В ней развит карьеризм, прислужничество, комбарство и ряд других кастовых извращений. Но все же основным жизненным стимулом ее, центральной, направляющей волей является до сих пор не приумножение собственных материальных благ, не обогащение комму-

нистов и не защита их собственности, а сохранение в своих руках власти для коммунистического переустройства общества.

Конечно, субъективные желания коммунистов ничего не меняют в той контр - революционной, антисоциалистической роли, которую они вынуждены играть объективным ходом вещей. Но их нельзя все же игнорировать при характеристике В.К.П., как социальной группы. Они, эти стремления, препятствуют массовому превращению ее в новую буржуазию. Непрерывное «кружение» в котором под давлением сверху находятся все члены партии, борьба с «хозобрастанием», «чистки», «переброски», контроль, вообще, вся внутренняя партийная жизнь не дает отстояться новому экономически мощному господствующему классу.

Коммунистическая партия является совершенно своеобразным типом правящей бюрократии, связанной с известной, все убывающей частью пролетариата и опирающейся на армию.

Она продолжает воплощать социальные иллюзии, которые были широко распространены в пролетариате и отчасти крестьянстве (в армии) в первые годы революции. Ей принадлежит с другой стороны в глазах широких масс, плохо разбирающихся в причинах и в истории гражданской войны, заслуга отражения белогвардейщины. Наконец, она «выдвинула» значительное количество рабочих на различные, иногда очень высокие, административные и государственные посты.

Все это объясняет почему около 500 тысяч рабочих состоят в коммунистической партии. Эти остатки связи с рабочими массами являются также одним из препятствий, которые приходится преодолевать политическому движению пролетариата.

Но, говорят некоторые сторонники теории «перерождения», если коммунистическая бюрократия не является сама по себе буржуазной, она фактически становится на защиту интересов растущего и крепнущего класса новых собственников *против рабочих*. Господствующий класс уже существует и подчиняет своему влиянию государственный аппарат.

Несмотря на всю соблазнительность этой теории, упрощающей и облегчающей задачи социалистической тактики, приходится ее отвергнуть как недостаточно обоснованную.

Нельзя, конечно, отрицать роста новой буржуазии, городской и деревенской.

Разумеется она старается использовать в своих интересах и государство и В. К. П. всевозможными легальными и нелегальными путями. Весьма вероятно, что в известной своей части она опасается всяких резких политических перемен и даже предпочитает держащих рабочих в узде большевиков — социалистической демократии.

С другой стороны нынешний «советский» строй, который В.К.П. охраняет от всяких потрясений, полон весьма резких, (го-

раздо более резких, чем в передовых капиталистических странах) социальных контрастов и вопиющего неравенства; в нем восстановлена частная собственность и все виды нетрудовых доходов, капиталистические отношения в нем развиваются, не смотря на «большевистские командные высоты».

И, однако, В. К. П. не является и не может стать властью буржуазии. Если ей приходится, как правительству страны, в которой капиталистические отношения существуют и признаны законом, принимать во внимание также и интересы (и права) капиталистов, то ведь не иначе поступала бы и социалистическая демократия по своем приходе к власти в любом европейском промышленном государстве.

Тяжелое положение рабочих и крестьян при большевистской диктатуре не есть следствие политики враждебного им класса, а результат ошибок и извращений их собственной классовой политики, совершаемых большевистской интеллигенцией.



Каковы же те общественные силы, которые могут быть приведены в движение для борьбы против коммунистической бюрократии?

И во имя каких целей могут они выступить на борьбу?

Своеобразие нынешнего положения ясно отчасти из всего вышесказанного, характеризуется, между прочим, тем, что в Советской России, к началу десятого года диктатуры *все еще нет подлинного, массового, политического движения.*

Можно подумать, что в революционном «срыве» были засыпаны и ушли глубоко под землю источники, питавшие течение столетия русское освободительное движение, поддерживавшие в нем неистребимое, казалось, стремление к свободе, к независимости мысли, дух протеста и отвращение к деспотизму.

Не нужно на этот счет обманывать себя. То политическое «оживление» различных классов населения, которое отмечают большевики в связи с перевыборами советов и повышением требовательности рабочих и крестьян, — есть, конечно, весьма благоприятный симптом, но оно далеко еще не носит того характера, который имело, скажем, политическое брожение начала девятидесятых годов, проявившееся в студенческих волнениях, рабочих забастовках и в общем «оживлении» интереса к политическим вопросам. И еще: теперешнее оживление «советской общественности» является, как мы увидим, одной из иллюстраций своеобразия путей, которыми пойдет политическое пробуждение России.

В революционном «срыве» действительно смешались классы, политические группировки, течения; слепая стихия революции, подхлестываемая демагогией, со страшной силой столкнула между

прочим и отнюдь не враждебные друг другу общественные силы (напр. пролетариат и интеллигенцию, пролетариат и крестьянство), порождая и множа трагические конфликты, ломая сложившиеся идеологии, вызывая глубокие моральные и идейные кризисы, сея хаос в умах.

Теперь постепенно происходит новая расстановка общественных классов и групп, а внутри их — подведение итогов и всему пережитому, переоценка и поиски путей. В этот процесс должны активно вмешаться социалистические партии с тем, чтобы помочь интеллигенции, пролетариату и крестьянству осмыслить все прошедшее и возродить в новых формах, исходя из реальных потребностей нового, из революции рождающегося общества, живое, независимое движение к свободе и к социальной справедливости.



Мы уже указывали, что спор о «свержении» большевистской власти (который, как мы видели, ведется и внутри меньшевистской партии) не имеет большого практического значения. Задача социалистической партии — содействии пробуждению и развитию политической активности, оформлению и объединению разрозненных «оживлений» советской «общественности» в единое русло широкого политического движения. Какие формы примет в результате этого движения неизбежный политический кризис — покажет будущее.

Теперь же гораздо важнее знать по каким путям и под какими «лозунгами» может развиваться подлинное политическое «оживление» общественных групп ранее выступавших против самодержавия.

А. Интеллигенция. Всей своей предидущей историей она была подготовлена к тому, чтобы сыграть громадную роль в деле создания новых демократических и общественно - трудовых форм жизни, приобщения к культуре широких народных масс — рабочих и крестьянства, пробуждении в них сознания их исторических задач и дальнейшего развития вместе с молодой рабоче-крестьянской интеллигенцией духовной и материальной культуры народов России, одним словом — в деле социалистического строительства.

В отличие от европейской интеллигенции она была чужда феодально-капиталистского отношения к частной собственности и ко всем другим «священным» принципам буржуазного строя.

Как говорил на известном московском диспуте проф. Сакулин, выступая против Дуначарского и Бухарина: «Русская трудовая интеллигенция смысл своего существования видела в культурной работе для страны и прежде всего для трудовых народных масс. Это определяло ее психологию... «К чести этой интеллиген-

пни нужно сказать, что живя в обстановке буржуазного самодержавного строя, она тем не менее, по возможности, сохранила независимость своих убеждений и боролась с этим строем».

В громадной своей массе она так или иначе примыкала к социалистическим партиям или находилась под влиянием социалистических идей. В этом до сих пор видят ее основной грех идеологи реакции, от Маркова — до Струве и Ильина.

В октябре 1917 года эта интеллигенция потерпела поражение вместе с социалистическими партиями и с передовыми рабочими и крестьянами, которые в них входили. Нужно признать, что она была разбита в значительной мере по вине своих вождей, не сумевших удержать руководство революционной стихией.

Вынесенное этой стихией на верх большевистское крыло интеллигенции, ослепленное своей доктриной и совершенно безумным самомнением, обрушило на остальную интеллигентскую массу вместе с яростью темной стихии потоки самой бессмысленной и злобной клеветы. Бессмысленной, ибо она искусственно вырывала между интеллигенцией и пролетариатом пропасть, которую теперь те же большевики пытаются как нибудь засыпать.

Некоторая часть интеллигенции была этим отброшена в лагерь буржуазии, но вряд ли она более значительна, чем та группа, которая под влиянием Нэпа, «бюрократических извращений» аппарата и т. д. выделилась из самой коммунистической партии и из «большевистской» бунтарской стихии. Всего вероятнее, что ленинское «грабь награбленное» дало России большее количество убежденных собственников, чем прословутый «саботаж» и уход интеллигенции в политическое и общественное небытие.

Г. Бухарин, следуя большевистскому графарету, пытается объяснить этот уход какой то особой привязанностью ее к институту частной собственности.

«В лучшем случае она («голодавшая сельская учительница») боролась с царским режимом, но не выходила из круга тех понятий частной собственности, которые существовали. Почему, когда пролетариат посягнул на частную собственность она не пошла с ним? Потому что она отражала идеологию среды». (См Судьбы современной интеллигенции, издание Московского Комитета Р.К.П., стр. 23).

Это явный вздор. В вопросе о «собственности» небошевистская трудовая интеллигенция была просто культурно и экономически грамотнее большевистской и понимала, что те *способы* упразднения частной собственности, которые были в ходу в 1918-1921 годах (грабь награбленное, «заградительные» отряды, всевозможные «изъятия», разбазаривания, раскулачивания и весь так называемый, военный коммунизм) вели не к созданию высшего хозяйственного строя, а к хозяйственному умиранию страны и возрождению нового хищничества.

В то время, когда Бухарин действовал по своей «Азбуке», эта интеллигенция видела то, что он, Бухарин, понял лишь пятью годами позднее, когда сказал, в одном из своих докладов: «это был настоящий сумасшедший дом».

Но, конечно, не преклопление перед собственностью отталкивало трудовую интеллигенцию от большевизма — и Бухарин понимает это. Те, кто хотел нажиться или наоборот к большевикам.

«Мы отлично знаем, заявил он в своем ответе Сакулину, и прямо говорим, что в первое время после октябрьской революции к нам пошла худшая часть интеллигенции...

«Большинство честной интеллигенции было против нас. Почему? Потому, что она разделяла взгляды, которые у глубокоуважаемого П. Н. Сакулина сидят еще и сейчас».

Какие же это взгляды? Вот они:

«В своей умственной работе, говорил проф. Сакулин, интеллигенция должна сознавать себя свободной. Иначе жизнь для нее теряет всякий смысл».

Для деятелей науки «всегда дороже всего была свобода творчества».

«Интеллигенция может принимать в строительстве лишь свободно творческое, а не внешне механическое участие».

«Нельзя брать монополию на истину. Ее нужно не декретировать а развивать и пропагандировать».

Вот — положения, которые до сих пор приводят в ярость Бухарина.

Здесь, конечно, основная причина конфликта. И совершенно естественно, что бывшие революционеры, когда то сами протестовавшие против подавления свободы, сознавая свою неправоту, вынуждены изворачиваться самым жалким образом, лгать и клеветать, чтобы как нибудь объяснить теперешнее их отрицание свободы мысли.

Теперь большевики пытаются найти пути «примирения» с интеллигенцией. На том же диспуте г. Дуначарский повторяя обычные свои пошлости об «интеллигентской» психологии объявил, что завоевывать интеллигенцию надо «не столько по линии принуждения, сколько по линии убеждения». Но тут же прибавил, что «если убеждение не действует, то надо принуждение». Все это, впрочем — пока не вырастет «наша собственная интеллигенция».

Уже из этого заявления видно, что подлинное внутреннее примирение не возможно.

А речь Бухарина не оставляет в этом никаких сомнений.

Как можно допустить свободу научного исследования? ужасается он. Ведь тогда, чего доброго, будут проповедывать «витализм в биологии или идеализм кантовского пошиба в философии!»

«Да мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их как на фабрике».

Нештапованная, самостоятельно мыслящая интеллигенция должна безпрекословно подчиниться.

«Милые люди, прекраснодушные интеллигенты за народ готовы отдать все, только они не понимают, что такое народ»...

Бухарин понимает и объявляет категорически: «а мы говорим, что мы руководства из своих рук не можем выпускать, что мы имеем историческое право. Если бы мы вам вручили судьбы России, то что бы вышло? Вы одной мертвой лошади испугались бы так что в панике бросились бы бежать. Когда надо было шагать через трупы, то извините, для этого надо было иметь не только закаленные нервы, но основанное на марксистском анализе знание путей, которые нам отвела история...»

«Мы имеем историческую ответственность ни более и не менее, как за судьбы всего человечества».

И дальше: «За нами Азия», «У нас гигантские, всемирные масштабы» и т. д. и т. д.

Повидимому неограниченное распоряжение вооруженной силой и подавление несогласных действуют на всех диктаторов одинаково: все они немедленно воображают себя, в зависимости от темперамента и вкуса — «бпчами Божьими», «орудиями Провидения» или уполномоченными представителями Истории. Истериическое самомнение маленького сверхчеловека Бухарина, его пьяный восторг перед самим собой и своей партией ничем не отличается от грозного кликушества Муссолини. Все эти «исторические права» и «всемирные масштабы» могут производить впечатление на неуравновешенную, встревоженную толпу или на омеряченных почитателей. Но они лопаются, как мыльный пузырь от малейшего прикосновения спокойной и независимой критики. Самостоятельно мыслящих людей пельза ни «убедить», ни «принудить» признать за Бухариным «монополию на истину».

К тому же ведь пять лет назад от имени истории говорил Троцкий и не иначе как «в грозе и буре», затем «историческое право» — перешло к Зиновьеву. И что же, где теперь Зиновьев и Троцкий? Что за шутки шутит с ними «история»?

Монопольная истина явно дает трещины, и «штамп», которым выделяется новая интеллигенция приходится все чаще и чаще пересматривать. В результате не только «нештапованная», но и новая, молодая интеллигенция неизбежно начинает сомневаться в монополии Бухарина.

Из коммунистических школ — даже самых привилегированных выйдут, наряду с чиновниками и карьеристами, такие же свободо-

домыслящие люди и столь же «неспокойные», как из незуитских пансионеров и духовных семинарий.

Попытки «штампования» всегда и везде приводили к обратным результатам.

В большевистской и меньшевистской печати часто приходится встречать указания на то, что «новая» интеллигенция отличается от «старой» некоторыми резко характерными чертами: она менее отвлеченно идеалистична, более практична, настроена более деловым образом, больше интересуется техническими, профессиональными вопросами, она, как часто выражаются, «американизруется». Большевикам это очень, повидимому, нравится.

В этом противопоставлении далеко не все верно и справедливо.

Бухарин издевается над «прекраснодушием» старой интеллигенции. На своем своеобразном жаргоне он восклицает:

«Я извиняюсь, но я органически не перевариваю этой фразеологии: «народ». Мы «желаем служить народу». Это все шедуха».

О «прекраснодушии», «мягкотелости», «болтливости» и прочих пороках интеллигенции писали и пишут Троцкий, проф. Ильин, Луначарский, Бунин, Эренбург и другие.

Однако, эта самая интеллигенция (третий элемент) создала земскую медицину, школьное дело, земельную агрономию, статистику, кооперацию, библиотеки, ряд образцовых культурных учреждений (которые до сих пор большевики показывают иностранцам), не говоря уж о русской науке и искусстве.

Все это — не смотря на отсутствие «американских» качеств.

Можно, конечно, все высмеять и окарикатурить, когда это нужно в интересах доктрины вульгарного «материализма». Но нельзя заменить приказом, хотя бы подкрепленным пулеметами и «стенкой» то самое «общественное служение», над которым до сих пор издевается г. Бухарин, но без которых социализма не построить.

Большевики сами теперь должны это чувствовать и даже Бухарин вздыхает о «честности», после того как его партию облепили со всех сторон мошенники.

Нужно, впрочем признать, что в известных слоях старой русской интеллигенции отсутствовали некоторые из весьма ценных и нужных качеств имеющихся у европейской и американской, в том числе, и так называемая «деловитость».

Объясняется это между прочим тем, что «деловые» и «технические» качества развиваются главным образом в хозяйственной

области, которая была почти всецело в руках буржуазии (за исключением кооперации, в которой русская интеллигенция проявила свои организационные таланты), а «прекраснодушные» интеллигенты предпочитали заниматься «шелухой», по выражению Бухарина, т. е. общественной и культурной работой чем служить капиталистам.

Как бы то ни было, если «практические» организационные таланты развиваются в новой интеллигенции — тем лучше «поскольку, конечно, речь идет не о тех энергичных и шустрых американского типа «одесских юношах», подвигами которых заполняется судебная хроника советской печати.

Задача социалистической партии содействовать «смычке» между старой, нештампованной, свободолюбивой интеллигенцией и новой, которую пытаются «фабриковать» большевики.

Нужно помочь пробуждению в последней самостоятельной критической мысли, уважения к чужому мнению, терпимости, чувства собственного достоинства и гуманности, понимания великой ценности свободы.

Нужно помочь примирению первой — не с большевистской доктриной, а с рабочими и крестьянами, поскольку еще не рассеялось в массах недоверие к интеллигенции, поскольку еще живы в интеллигенции чувства горечи, недоумения, возмущения, вызванные трагическим взаимным непониманием во время разгара революционной стихии. А для этого нужно понять неизбежность самых тяжелых, самых отталкивающих проявлений этой стихии в стране, где самые дикие зверства совершались блестящими представителями «европейски образованной» аристократии.

И нужно уметь видеть то, что было в ней наряду с этим ценного, человеческого, даже трогательного... веческого, даже трогательного.

*

**

«Интеллигенция может принимать в строительстве лишь свободное творческое участие, а не внешие механическое».

Понятно, что в истекшие годы она проявила себя главным образом в тех областях, которые менее всего доступны внешнему физическому воздействию власти — в науке, искусстве, в отстаивании русской культуры. О ее героических усилиях писал недавно в «Воле России» наш московский сотрудник Невидимцев.

Нужно, чтобы интеллигенция нашла в себе силу и энтузиазм также для массового возобновления в новых условиях своей старой общественной деятельности. В этом и будет на практике за-

ключаться ея «примиренне» с народом, с рабочими и крестьянами.

Задача социалистической партии в том и состоит, чтобы пробудить этот *общественный энтузиазм*, показать, что можно и должно *несмотря на большевиков* работать для поднятия трудовой рабоче - крестьянской, российской культуры, для развития новых форм общественно - трудового хозяйства, одним словом — для *социализма*. Так же, как при самодержавии. Пусть нелеп большевистский опыт, пусть морально невыносим их полицейский режим, пусть отвратительны командование и самодурство невежественных властей. Но подобно тому, как несмотря на все это не умирают «духовные ценности» и нужно «двигать науку» (см. «В защиту слякоти» Невидимцева), точно так же жив стремящийся к своему освобождению Труд, живет, думает и рвется к просвещению, к улучшению условий жизни крестьянин и рабочий и нужно «двигать», дело его социального освобождения в том же направлении, что и раньше.

В рабочих и крестьянских массах за последнее время, по свидетельству большевистской литературы, особенно сильно проявилась «тяга к интеллигенции», в частности во время последних перевыборов. Это — чрезвычайно благоприятный симптом, который уже тревожит большевистских охранников.

Деятельное участие во всех общественных начинаниях — хотя бы находящихся под официальной опекой власти — в кооперации (особенно сельской), в клубной и библиотечной работе, в самоуправлении, в хозяйственном строительстве и т. д.

Фактически большинство интеллигенции поступает так уже теперь. Но до сих пор делалось это так сказать оцупью, без особого воодушевления, без ясного плана, раз'единенно.

Социалистическая партия должна сообщить новый импульс этой общественно - культурной работе, показав ее связь со всем предшествующим освободительным движением и громадное значение ее для выздоровления и выпрямления русской революции.

Лишь тогда, когда рабочий и крестьянин почувствуют, что интеллигенция идет к ним не как представительница чуждых, враждебных классов, а воодушевленная желанием помочь им в осуществлении их чаяний и стремлений, лишь тогда создана будет почва для борьбы с еще неизжитыми иллюзиями и для возрождения общеполитического движения.

Мы остановимся подробнее, когда будем говорить отдельно о пролетариате и крестьянстве, на имеющих в этом смысле «возможностях» и на согласовании такой культурно-общественной работы с политической борьбой.

Но уже теперь можно формулировать выдвигаемый нами

«лозунг». В ответ на большевистские инсинуации о смычке «мелкобуржуазной» интеллигенции с нэпмановско - капиталистической и «кулацкой» стихий мы требуем реальной смычки демократической, трудовой интеллигенции с трудящимися массами для культурно - общественной работы в духе творческого демократического социализма.

В. Сухомлин.

Р. С. В предыдущей моей статье («В. Р.», ном. 10) имеется ряд искажающих смысл опечаток. Указываю главнейшие: на стр. 13 четвертый абзац сверху должен быть поставлен перед третьим.

На стр. 127 после второго абзаца пропущена фраза: *Это понятно: над всем господствует теперь политическая проблема.*

На стр. 128 14-я строчка снизу вместо *коммунистический*, нужно читать *капиталистический*.

Иностранная жизнь.

Внешняя политика Соединенных Штатов.

На первый взгляд и при поверхностном рассмотрении внешняя политика Соединенных Штатов совершенно непоследовательна и запутана. Мощественная республика похожа на гигантскую статую Януса, один лик которого, полный жестокого империализма, обращен к югу, в то время как другой, с выражением благосклонного миролюбия и стремления к изоляции, обращает свои взоры ко всему остальному миру.

В течении целого столетия Соединенные Штаты вели последовательно наступательную политику на обоих американских континентах. Они расширили свои границы на Запад и на Юг при помощи мирного овладения соседними областями и благодаря завоевательным войнам. Они не отступали и перед посылкой вооруженных экспедиций для подчинения себе дружественных, но слабых республик Центральной и Южной Америки, и они и поднесь обладают значительной властью над внутренней жизнью некоторых из них. Благодаря неуклонному финансовому внедрению, они создали себе господствующее экономическое и политическое положение в большинстве латино - американских республик, и их влияние быстро перешло и на единственного северного соседа, на Канаду.

ПЕРЕД И ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

Господствующие классы Соединенных Штатов давно поняли, что огромные области Западного полушария представляют собою самое подходящее и многообещающее поле для удовлетворения их завоевательных стремлений. Отсюда вытекала традиционная

*) Настоящая статья написана известным лидером американских социалистов и крупным писателем, Моррисом Хиллквитом.

внешняя политика молодой республики: сосредоточиться на Америке и держать на расстоянии европейских соперников. Это и составляет истинный смысл знаменитого предостережения Вашингтона своим соотечественникам: избегайте чужеземной торговли. Это же является явной целью доктрины Монро: «Соединенные Штаты домогаются всей Америки и ничего иного, кроме Америки» — вот ключ к пониманию внешней политики Соединенных Штатов в первый период их истории. Но быстрое и полное сил развитие Соединенных Штатов в конце концов разрушило это добровольное самоограничение. К началу нашего века страна добилась руководящего экономического положения среди великих держав, западное полушарие оказалось слишком тесным для ее промышленности, построенной на быстром развертывании, для ее торговых сношений и банковских операций. Соединенные Штаты вступили в общую борьбу на мировом рынке.

Испано - американская война 1898 года знаменует собою первый шаг в новой политике безудержного империализма. Эта война принесла Соединенным Штатам их первые заокеанские владения в восточном полушарии. Все остатки их традиционной внешней политики, казалось, окончательно были уничтожены в 1917 году, когда страна вступила в мировую войну и впервые послала американские войска за океань, приняв этим деятельное и определенное участие в европейских делах. Великая Западная республика бросилась в игру мировой политики со всем весом своего огромного богатства и со всем одушевлением своей молодости.

Но непосредственно после заключения мира ее позиция изменилась неожиданным и радикальным образом. Америке надоеда Европа. Великая война, во время которой кровь тысяч молодых американских солдат увеличила красный поток воинов всех наций, отошла в прошлое: она стала законченным эпизодом, не имеющим связи с общими судьбам и будущим развития нации. Решительным движением Америка сбросила с себя цепи, временно соединявшие ее с Европой, и снова замкнулась в свою традиционную скорлупу изоляции. Она не вступила в Лигу Наций, крестным отцом которой она была во время войны и выработки мирного договора. В отношении огромных займов, которые она давала расточительной рукой во время войны, она круто изменила свою позицию, превратившись из свободно ссужавшего союзника в расчетливого кредитора. Но если изменения внешней политики официальной Америки после войны кажутся поразительными, то еще более противоречивым и необъяснимым может показаться поворот американского общественного мнения по вопросам этой политики.

БОРЬБА НАПРАВЛЕНИЙ.

Во время войны и сейчас же после нее главными защитниками Лиги Наций и сторонниками мягкого решения вопроса о долгах были либералы Вильсоновского толка. Противодействие Лиге Наций и требование «делового» отношения к долгам исходило, главным образом, из реакционно - капиталистических кругов, политически представленных в общем республиканской партией. Избирательная кампания перед выборами президента в 1920 году рассматривалась всеми, как решение народа по вопросу о вхождении Америки в Лигу Наций. А подавляющее большинство голосов, полученное президентом Гардингом, по сравнению с его противником - демократом, было понято как отказ от Лиги Наций.

• Когда Вильсон предложил впервые договор о Лиге Наций на ратификацию Сената, республиканское большинство было готово ратифицировать его с некоторыми оговорками. Но Вильсон требовал безусловного принятия, а после избирательной борьбы 1920 года новое республиканское правительство совершенно отложило весь вопрос.

Но то же самое правительство выказывает теперь явные признаки вторичного изменения своей внешней политики. Чрезвычайно осторожно, но твердо пытается оно опять нащупать себе дорогу в путанице европейских отношений. Недавнее решение Сената относительно вхождения в Гаагский Третейский Суд (Палату Постоянного Международного Суда), было как бы пробным шаром. При этом общее впечатление таково, что это решение должно как бы подготовить путь к вхождению в Лигу Наций. Подобную же политику можно усмотреть в более благожелательной позиции правительства по вопросу об уплате союзных долгов. Правительство президента Кулиджа ищет снова сотрудничества с Европой, откровенно служа хозяйственным интересам своей страны. Оппозицию, главным образом, составляют часть либералов и радикалов, особенно «радикальный блок» в Сенате. Именно эта группа «радикальных» республиканских сенаторов, при поддержке своих «либерально» демократических товарищей, пыталась сопроводить решение о вхождении в Гаагский Суд хитрыми и многочисленными оговорками для того, чтобы это решение практически потеряло всякий вес. Она же резко боролась против всех мер, направленных к частичному или тем более полному списанию союзных долгов. Это поразительное поведение может показаться загадочным европейскому наблюдателю, особенно европейскому радикалу, но объяснить его не столь трудно.

ЗАДАЧИ АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА.

Американский капитал нуждается сейчас в замирившей, успокоенной и даже в известном отношении процветающей Европе. Война превратила Соединенные Штаты в главного промышленника, купца и банкира целого света, а прошедшие после войны шесть или семь лет значительно усилили это руководящее положение. Промышленное производство Соединенных Штатов во много раз превосходит их внутренний спрос. Избыточный капитал растет с каждым годом, и европейские страны представляют новое и плодотворное поле для американских избытков. Экономическое оздоровление Европы после разрушений войны происходит медленнее, чем можно было ранее предполагать. В мучительном процессе своего промышленного возрождения Европа еще долго будет нуждаться в американских товарах и американском капитале. Но запутанное положение современной Европы не дает достаточных обеспечений ее платежеспособности. И в интересах американского капитала повысить кредитоспособность Европы и помочь ей в деле ее финансового упрочения. В случае новой войны Европа несомненно обанкротится и тогда Америка потеряет многообещающий рынок. Содержание дорогих и непроизводительных армий уменьшает платежеспособность Европы. Европейские войны и вооружения не накаплиют золота для американских капиталистов. Поэтому американский капитал действительно стремится теперь к миру в Европе, к разоружению и приветствует каждый шаг в этом направлении, включая сюда и Лигу Наций и Гаагский Третейский Суд. Отсюда и сравнительное великодушное американского правительства в вопросе об урегулировании союзных долгов.

Секретарь американского казначейства, Эндрю Меллон, сам мультимиллионер, очень коротко и смело очертил политику Соединенных Штатов в своем заявлении, «что все союзные долги в размере десяти миллиардов долларов не столь важны для американского народа, сколько цветущая Европа в качестве покупателя», или как он выразился однажды «в качестве платежеспособного покупателя».

ВОПРОС О ДОЛГАХ.

Полное или частичное, непосредственное или косвенное списание союзных долгов поддерживается заинтересованными банковскими кругами, которые ускоренным путем приходят к неоспоримому экономическому господству в Соединенных Штатах. Постоянный и быстрый рост доходов и избыточного богатства превращает для американского капитализма вопрос о вложении ка-

питала в иностранные предприятия в проблему чрезвычайной важности. В 1914 году Соединенные Штаты имели за границей около двух миллиардов долларов, т. е. приблизительно 5% мирового инвестированного капитала. В то же время американские бумаги, главным образом акции железных дорог находились в иностранных руках на сумму в шесть с половиной миллиардов, так что Соединенные Штаты были явно страной-должницей.

До какой степени все положение радикально изменилось после войны явствует из того, что Америка не только возвратила себе путем покупки огромное большинство ценностей, находившихся в иностранных руках, но и сама стала кредитором других государств на чудовищную сумму в 25 миллиард дол. Несколько менее половины этой суммы составляют правительственные займы с процентами, остальные — частные займы и инвестиции. Значительная часть этих сумм связана с американским континентом. Частные долги Европы Америки составляют около 2 1/2 миллиардов долларов, т. е. лишь 10% ее иностранных займов и инвестиций. Три четверти этого капитала было выдано под правительственные обеспечения, а четверть представляет собою ссуды частным предприятиям. Высоко интересна разница между помещением американского капитала в Европе и в южно-американских странах. В последних американский капитал обладает предприятиями либо полностью, либо частично в виде акций, в то время как в Европе он ограничивается в широкой мере облигациями, которые не позволяют непосредственно контролировать соответствующие предприятия. Таким образом, американский капитал в Европе еще находится в зачаточной стадии своего развития. Но значение Европы как места для помещения капитала растет для Соединенных Штатов, совместно с ее коммерческими возможностями, в то время как возможности южно-американские скоро будут исчерпаны.

Совершенно ясно, что платежеспособность Европы, а особенно европейских правительств сильно повысилась бы, если бы долги последних Америке либо были бы совершенно списаны, либо значительно сокращены.

ПОЗИЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ «РАДИКАЛОВ».

Если таким образом совершенно очевидны истинные мотивы «либеральной» политики и духа «солидарности» наших капиталистов по отношению к Европе, то с другой стороны противоположная позиция наших «радикальных» государственных деятелей и представляемых ими кругов вытекает из гораздо более сложных взаимоотношений. Прежде всего надо принять во внимание большую разницу между европейскими радикалами и послыщими то же имя американцами. В промышленно развитых странах Европы по-

литическая борьба, по большей части, коренится в экономических столкновениях между трудом и капиталом, и партии носят название консервативных, либеральных или радикальных в зависимости от их отношения к рабочему вопросу. «Радикалом» в Европе обычно называют в широком смысле этого слова социалиста того или иного оттенка.

В Соединенных Штатах рабочему классу не удалось получить определенного места в политической жизни страны, а рабочий вопрос не представляет решающего политического значения. Классовая борьба, до сих пор имевшая обычно выражение в практической американской политике, происходила из конфликтов между сельско хозяйственными и промышленными областями страны. Со времени гражданской войны правительство Соединенных Штатов всегда находилось в подчинении у промышленного капитала. Оппозиция вышла из хлебных и маисовых областей Дальнего и Среднего Запада. Нынешняя «радикальная» группа в Конгрессе по существу того же типа и происхождения и проявляет все отличительные черты аграрного радикализма, значительно разнящегося от радикализма крупной промышленности или рабочего класса. Он анти - капиталистичен, анти - милитаристичен и анти - империалистичен, но по существу проникнут духом индивидуализма и горделивого национализма.

ПОЧЕМУ РАДИКАЛЫ ПРОТИВ ЛИГИ НАЦИЙ?

Когда статут Лиги Наций был предложен для ратификации Сенату, «радикальная» группа возражала против него, главным образом, на том основании, что обеспечение территориальной неприкосновенности против нападений, как она выражена в §10 влечет за собой участие всех членов Лиги Наций в непрерывных европейских спорах по поводу границ. С течением времени эта оппозиция стала еще сильнее и решительнее. Теперь американские радикалы критикуют Лигу Наций и как целое и с точки зрения организационной. Они видят в Лиге скорее орудие войны, чем мира, ибо Статут Лиги одобряет или, по крайней мере, признает войну при известных обстоятельствах и в конечном счете опирается на вооруженную силу. Опыт мировой войны разрушил у американских радикалов веру в действительность насилия, как средства к разрешению международных разногласий. Они во все большем количестве присоединяются к лозунгу «долой войну», при чем они хотят, чтобы совершенно бессмысленный и всеобщий международный договор окончательно изгнал войну при всяких обстоятельствах и под каким бы то ни было видом и чтобы все международные договоры, решения и действия осуществлялись «на основе всеобщего согласия и уважения к духовным основам человечества».

Кроме того Лига Наций встречает в своем нынешнем виде неодобрение радикалов еще и потому, что статут ее составляет часть Версальского договора. Они указывают на то, что Лига Наций была создана для поддержания господства европейского империализма. В защиту своего взгляда они ссылаются на состав и компетенцию Совета Лиги Наций и на все печальные последствия решений и попущений, которые лежат на совести Лиги за несколько лет ее деятельности. Женевский протокол и Локарнский договор значительно повысили Лигу Наций в глазах общественного мнения Америки, но последовавшие после Локарно неудачи разрушили это благоприятное впечатление.

Противодействие радикалов списанию союзных долгов вытекает из причин, близких тем, которые определяют их отношение к Лиге Наций. Правительство Соединенных Штатов, говорят они, ссудило союзникам около 10 миллиардов долларов. Кому то во всяком случае придется заплатить эту огромную сумму. Если европейские должники будут освобождены от этого долгового бремени, то оно падет на американского плательщика налогов, включая сюда и рабочего и фермера. (Мысль о томъ, чтобы это бремя было возложено на людей, нажившихся на войне, путем особого налога на крупную собственность и высокий доход, еще не пришла в голову нашим радикалам или же не нашла у них никакого отклика). Им кажется, что все дело не заслуживает таких жертв. Их критика бывших союзников исходит из того положения, что Европа не делает определенных и последовательных усилий для изменения основ своей хозяйственной жизни, что она все медлит, боится налогового бремени и расходует огромные средства на содержание непродуктивных армий.

Урегулирование вопроса об английском долге, происшедшее на чисто деловых основаниях, не вызвало большого сопротивления, но соглашения с Францией и Италией, носившее более примитивный характер, встретили решительный отпор. Радикалы выдвигают в качестве обвинения против Франции не только ее безумные траты для своих собственных военных целей, но и то обстоятельство, что Франция поддерживает сильную военную организацию в дружественных ей странах. И в то же время ее хозяйство падает и разрушается. Соглашение об итальянском долге вызвало особо недоброжелательное отношение радикального и либерального общественного мнения, ибо необыкновенно мягкие условия этого соглашения точно нарочно были выработаны для усиления и поддержки фашистской диктатуры. Восемьдесят процентов долга было списано на том основании, что Италия «не в состоянии» заплатить более, и одновременно с этим соглашением американские банкиры предоставили итальянскому правительству крупный 7% заем: это произвело такое впечатление, точно американский народ был обманут ради выгоды банкиров.

ОТНОШЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА.

Организованный рабочий класс Соединенных Штатов, поскольку он представлен Американской Федерацией *) Труда, за последние шесть лет значительно изменил свое отношение к Лиге Наций. Будучи ревностной защитницей высшей и внутренней политики президента Вильсона, Американская Федерация Труда на своем съезде 1919 года приветствовала Лигу Наций, «как учреждение, наиболее приблизившееся к тому, что должно быть достигнуто в области международных отношений человечества».

В 1920 году, когда статут Лиги Наций был окончательно выработан и принят, Американская Федерация сперва приветствовала ее «как серьезную попытку к установлению всеобщего мира, а в 1923, когда был разрешен отрицательно вопрос об участии Америки в Лиге Наций, Федерация защищала вхождение Соединенных Штатов в Палату Постоянного Международного Суда. Но спустя два года Федерация сделалась в этом вопросе осторожнее и перешла к решительности. Резолюция съезда 1925 года гласит: «условия, определяющие взаимоотношения народов мира, постоянно меняются. При таком неустойчивом положении вещей, необходимо быть чрезвычайно осторожным и предусмотрительным при принятии решений, носящих широко международный характер».

Эволюция Социалистической партии шла в известном смысле в обратном направлении. Решительные противники войны и насильственного мира, социалисты Соединенных Штатов безоговорочно осудили Лигу Наций, как часть несправедливого Версальского договора. Отношение американских социалистов в 1919 году достаточно полно рисуется манифестом, принятым на их съезде и написанным автором настоящей статьи. В нем, между прочим говорилось: «чтобы подкрепить свое господство насилия и реакции, торжествующие представители капитализма Антанты создали Исполнительный Комитет своих правительств, которому они имели дерзость присвоить ложное имя Лиги Наций. Истинная цель этого союза капиталистических сил состоит в том, чтобы обезпечить свою добычу, угнетать малые народности, уничтожать пролетарские правительства и повсюду разрушить растущее движение рабочего класса. Так называемая Лига Наций, это Черный Интернационал, встающий против возрождения рабочего класса. Это сознательное объединение капиталистов всех наций против пролетариев всех наций».

*) Напоминаем читателям, что Американская Федерация Труда не только не связана с социалистическим движением, но и порою выступает против него, и вообще стоит на своеобразных позициях, совершенно чуждых европейским классовым организациям пролетариата.

Эти строки, вызванные главным образом чувством разочарования и возмущения лицемерием и реакционностью, которые союзники проявили на Мирной Конференции, в сущности, пожалуй, не были ошибочны в определении первоначальных стремлений основателей Лиги Наций. Но социальные учреждения часто изменяют свой характер и свое назначение в соответствии с изменением общего положения и перегруппировкой экономических сил. Под давлением роста социализма и рабочего движения и в виду усилившихся экономических потребностей всеобщего мира, Лига Наций сумела развить и некоторые положительные начала. Социалистические партии Европы и Рабочий Социалистический Интернационал признали Лигу Наций действенным орудием для поддержания мира и решили приложить все усилия к тому, чтобы придать ей демократический и прогрессивный характер. Они признали весьма важным вступление Америки в Лигу. Все эти обстоятельства заставили часть американских социалистов изменить свое отношение к Лиге Наций в смысле приближения к европейской программе. Однако, речь идет лишь о части, но далеко не о всех. На последнем Съезде социалистической партии, имевшем место в мае текущего года, вопрос о вступлении Америки в Лигу вызвал весьма оживленные прения, при чем сторонники обонх направлений оказались почти в равном количестве. Окончательное решение отложено до следующего съезда, предполагаемого на 1928 год.

По вопросу о долгах союзников Америке, социалистическая партия высказалась за полное их списание, при условии, что будут списаны все вообще военные долги союзников друг другу и что в соответствии с этим будет произведено уменьшение репараций.

АМЕРИКА И ЕВРОПА.

Соединенные Штаты не могут далее продолжать свою политику невмешательства в важнейшие вопросы европейской жизни. Рано или поздно, им придется принять деятельное участие в атлантической политике, хотя бы для защиты собственных экономических интересов, если не по иным причинам. Американский капитализм уже и сейчас готов к этому. Задача, стоящая перед независимыми европейскими сторонниками Лиги Наций, состоит в том, чтобы примирить с нею либеральное и радикальное общественное мнение Америки. Эта цель будет достигнута, поскольку Лига Наций сама освободится от империалистических интриг и даст доказательства своего искреннего желания стать тем, чем она до сих пор была лишь в теории: орудием всеобщего мира и международной справедливости.

Нью - Йорк.

Моррис Хиллквит.

Среди книг и журналов.

Памяти Есенина.

(Всероссийский Союз Поэтов памяти Есенина. Москва, 1926 г. стр. 269).

За время «революционной» тирании четыре поэта, именитых по разному, сошли в могилу. По разному похоронили, по разному поминают. Впрочем, и время то было разное. Характер похорон А. Блока определила его речь на пушкинском собрании: хоронила его культурная интеллигенция, и случайный, по обязанности, партийный интеллигент Ионов — «был не на месте». В ту пору печать — онемевала, мысли во имя жизни корректировались в допустимые слова, а учесть — многое было сказано: мы издавна привыкли читать междустрочья, самооговаривать умолчания. К печальной годовщине о Блоке накопилась уже литература и это накопление не ослабевает. Однако, немногие по числу решаются публиковать свои воспоминания: случайная встреча с Блоком не только не решает его сложной историко - культурной души, но и представления о нем не детализирует; Блок не поддается наблюдению, ключ к нему в изучении.

К воспоминаниям о жизненных встречах с Гумилевым пути еще небезопасны, поэтому и статьи, посвященные ему, ограничиваются «формальным» методом. Впрочем, в отношении Гумилева здесь особой беды еще нет: самый характер его творчества более склонен видеть родину духа в просторах искусства, нежели в пространстве России, недаром он был переводчиком Теофила Готье.

Официозно, со стеклянной слезой — брелоком прошли похороны В. Брюсова и, может быть, самым сердечным из всего сказанного и написанного был истерический выкрик А. Белого. По неофициальному предложению официальных лиц университеты устроили заседания в память Брюсова, и поэт ушел из жизни, из памяти. Вот недавно вышла книга Е. Сокола — «Жизнь и творчество Ивана Рукавишников», а уж куда бы уместнее было сделать это же в отношении Брюсова! Впрочем, г. Соколу виднее, в какую сторону предпринимать дипломатические шаги; одно ясно, что живой Рукавишников значимее мертвого Брюсова.

Иначе проводила Россия в могилу Есенина. Давно, давно с такой

душевностью, с такой сердечностью не оплакивали мы своих певцов! Какое изумительное количество откликов на утрату — кто статьей, кто воспоминанием, кто скорбным словом, кто стихами. «Можно с уверенностью сказать, что в СССР нет ни одного поэта, который не откликнулся бы на смерть Сергея Есенина» — так начинается предисловие первой книги в память поэта. В ней 13 статей, «отклик» 35 поэтов стихами, портреты («иконография») и факсимиле поэта. Объявленное содержание второго сборника отчасти дополнит первый, отчасти продолжит его биографией, письмами, библиографией.

«Я не буду останавливаться подробно на всех статьях об Есенине, они в большинстве с вниманием, с чуткостью — с сердцем! — говорят о друге и сверстнике, о попутчике - спутнике разновозрастных авторов. В воспоминаниях удобнее кратко суммировать некоторые характерные черточки поэта, что же касается идеологизирующих статей, то текстовых — три условно и только одна абсолютно. Идеологизировать дар, жизнь и срыв Есенина несвоевременно, а потому идеологизацию решается сделать только один — Л. Троцкий. Помню, когда я читал письмо Троцкого в «Известиях» (20, 1, 26), оно произвело на меня неожиданное впечатление: автор предисловия к «стихам» А. Безыменского, оказывается, еще (а, может быть, уже?) различает расчет от поклонения дару. Поскольку доступна коммунистическому вождю искренность (ГПУ!), постольку она запечатлена в письме. Неудивительно, что им открывают сборник: это не красноречие марксистского эстета, вроде Луначарского, но искусно скрытое и с большим чувством излитое констатирование действительности. Троцкий не противоречит и не выделяется из группы «друзей попутчиков». Смысл письма таков: Есенин — свежий, нежный, лиричнейший поэт, «наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества», «корни у Есенина — народные и, как все в нем, — народность неподдельная», в 1918 г. поэт пытался идти «на один лад» с революцией (ссылка на «Мать моя родина, я — большевик!» — не понята Троцким умышленно), но... оказался «самым яростным попутчиком» и точно выполнил свой девиз:

Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам!

Это, однако, не удерживает автора от восклицания — «Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя!» — «Умер поэт. Да здравствует поэзия!». Никаких излишних, буфонадных рассуждений и даже упоминаний о «пролетарских уклонах» и пр. нет. Призыв: «Будем готовить будущее (сик!)! Будем завоевывать для каждого и каждой право на хлеб и песню» — это, конечно, самый живой лозунг России в настоящем.

Валентина Дынник, по примеру Эйхенбаума (об Ахматовой), пытается реконструировать «лирический роман Есенина». Статья написана

внимательно, занимательно, однако, «роман» получается слишком упрощенный. «Буйство глаз и половодье чувств», «уходящее хулиганство», «возвращение на родину», «ласковый урус» — конечно, не исчерпывают «героической» фабулы, они намечают этапы, но не указывают «переходов». А между тем воспоминания о поэте именно подчеркивают у Есенина уверенность в поэтическом даре и вечное искание жизненного пути, жизненную неуверенность, вечный холеризм не сердца, а рассудка. Дар у него остался, несмотря на коллизию с сознанием, но уклон все время предопределялся именно сознанием.

Проф. Иван Розанов останавливается подробно на старом вопросе об уместности раскапывания личной жизни поэта и, придя к выводу, что это явление отрицательное, ... сам переходит к рассказу о встречах с Есениным, интересных, но противоречащих его введению.

В отличие от воспоминаний о Блоке, рассказы о встречах и знакомствах с Есениным отличаются, я бы сказал, наивным реализмом. Здесь не столько приходится догадываться и предполагать, сколько воспринимать сказанное, сделанное. Есть черты, общие всем воспоминаниям, в них сомневаться не приходится. Так, например, любопытен есенинский пушкинизм, который от внутреннего, психологического решения тайны пушкинского очарования и значения переходит в наивный, застенчивый или на все решившийся («Была, не была!...») жест.

На пушкинских торжествах Есенин читает у памятника стихи, где Пушкина самым явным образом, правда чисто внешне, аналогизирует с собой.

Блондинистый, почти белесый...
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Стихи кончаются словами:

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь,
Чтоб и мое глухое пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Это желание «прозвенеть бронзой» и не просто, как судьбой положено, а именно по пушкински, проявляется у Есенина уже в 1921 г. Он решительно отказывается «вести мужицкое хозяйство» с Клюевым, бросает внешнюю крестьянскую стилизацию, столь характерную для его начала, а в новом издании «Радуницы» совершенно пытается изъять рязанский диалектический колорит, заменив его общерусским. Это желание местное заменить общенародным, русским, сквозит и в «Черном Человеке» — реквиеме Есенина, реминисценции «Моцарта и Сальери» («Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек...»), где автор уже забывает свою местную родину: «Может в Калуге, а может в

Рязани — жил мальчик — в простой крестьянской семье — желтоватый — с голубыми глазами... Что славлюбивое «мечтанье» Есенина, жажда заслужить звание «национального русского поэта» ориентировалось именно на Пушкина, видно из воспоминаний А. Воронского («Кр. Новь»). Эта жажда помимо внутренней установки вылилась и в наивнейший внешний жест. Есенин оделся в пушкинскую крылатку и цилиндр.

В. Ф. Ходасевич в «Днях» предостерегает от излишнего преувеличения гения Есенина. Не знаю, к кому собственно обращены его слова. Ни один из авторов воспоминаний славлюбивого поэта не приравнивает к славе Пушкина, тем не менее никому и на мысль не приходит отнимать у Есенина звание, данное ему уже в день смерти (плакат над «Домом Печати»), звание — «великого русского национального поэта». Здесь имеется в виду не историческая, но современная, нами ощущаемая значимость Есенина: он был «властителем сердец всей читающей России». Оценка современности может не совпасть с исторической оценкой — примеров этому много — однако, история отнюдь не отнимает у современности права на ее оценку!

Любопытно мнение Есенина о Блоке. «Он (то есть Есенин) подсмеивался над «вечной женственностью» Блока, находя в этом еще лишнее доказательство, что Блок не может быть признан русским национальным поэтом: русскому народу идея такой женственности совершенно чужда. Такие же выражения, как «мать - сыра земля», говорят совсем об ином». А в другом месте Есенин хвастает: «Обратите внимание, что у меня, почти, совсем нет любовных мотивов... Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине». Это говорилось в 1921 г. Последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» оставалось верным. У Есенина к родине любовь, ласка, у Блока — влюбленность; сопоставление справедливое, однако, заключение отсюда, полагаю, не в силах Есенина. Расшифровка блоковской «влюбленности» и «вечной женственности» — тема философская; может быть, семена этих идей и чужестранны, однако, их культура осуществлена на русской почве, корни ушли в русскую почву, магически претворили новый рост. Об этом достаточно ярко рассказано в воспоминаниях А. Белого (поскольку в них можно различать Блока через цветное стеклышко самого Белого); магический захват Блока длится десятилетия!

Что же касается философствований Есенина, то о них имеются краткие сведения. Он одно время, вероятно, больше из практической необходимости, чем психологической, хотел создать школу «аггелистов»; в чем ее программа — не сказано.

Зато **Георгий Устинов**, заведующий лекционным отделом в «Центро - печати» и редакцией «Правды», дает любопытные картинки о философских построениях его самого, Есенина, Гусева - Оренбургского, д-ра медицины М. С. Тарасенко, ветеринарного врача и литератора Н. Н. Богданова и снисходившего до приятия метафизики «не для серь-

езных людей, а для поэтов» — В. В. Осинского. Система вкратце такова: «Женщина — есть земное начало, но ум у нее во власти луны. У женщины лунное чувство. Влияние луны начинается от живота книзу. Мужчина есть солнечное начало, ум у него от солнца». Между землей и солнцем, то есть мужчиной и женщиной, умом и чувством — извечная борьба. «Когда солнце пускает на землю молнию и гром, это значит — солнце смиряет землю». Есенин дополняет эту «систему»: «Деревня есть женское начало, земное, город — солнечное. Солнце внушило городу мысль избобрести громоотвод, чтобы оно могло смирать землю, не опасаясь потревожить города. Во всем есть высший разум». Г. Устинов так был увлечен этой метафизикой, что вступил из за нее в спор с Н.И. Бухариным. Тот сперва «хохотал, как школьник», но, убедившись, что у его сотрудника «вывихнулись мозги», сказал:

— Ваша метафизика не нова, это мальчишеская теория, путанница, чепуха. Надо посерьезнее заняться Марксом.... —

По воспоминаниям довольно подробно выясняются и принципы есенинского «хулиганства». Об идейном хулиганстве — Л. Троицкий правильно замечает, что поэт им «прикрывался, но не прикрылся», что же касается хулиганства в жизни, то о нем мы имеем 12 вариантов, из которых следует, что во многом оно является тем же театральным жестом, что и стилизация под балетного пейзажа и белесого Пушкина, но в крылатке и цилиндре. Есенин любил нарушать собрания, заявляя, что «тут читается нам совсем не интересное», без причины затевать скандал и изругать присутствующих собратьев «продажными душами» и пр., учинить «резкое столкновение с администрацией «Люкса» (где он жил впредь до того, что ему воспрещен был туда и вход). Все это делалось в подпитии, к чему покойный по многим причинам и по русскому обычаю был склонен. М. Ройзман рассказывает, что однажды Есенину пришла идея ни с того, ни с сего «устроить буфетчицу». «Он растрепал свои волосы и «сделался пьяным», и мы, поддерживая его под руки, повели наверх. Увидав буфетчицу за прилавком, он рванулся и «страшным» голосом сказал ей, что сейчас перебьет все бутылки. Буфетчица ахнула и нырнула за прилавком... Тогда он спокойно подошел к зеркалу, поправил волосы, надел шляпу и, увидев, что буфетчица испуганно смотрит на него, — приподнимая шляпу, сказал по английски: „Good bye!“ Приходила мысль в комнате Клюева закурить от лампадки папиросу.... Все это один вид хулиганства, гораздо же значительнее другой, когда он кончал слезами. Этому обычно предшествовало чтение своих стихов в пьяном виде, мысль о том, что он лишен возможности быть до конца самим собою... «За последние годы он был у меня раз пять-шесть, — пишет Г. Устинов, — всегда в тяжелом состоянии вдохновения, плакал и скандалил, скандалил и плакал». И наряду с «хулиганством» ряд воспоминаний говорит, что в то же время, в те же периоды Есенин был безмолвным, безалаберным ребенком, способным на самое утопическое мечтательство. То ему придет фантазия издавать собственный альманах «Вольнодумец» в пику Мариэнгофу,

причем дело, конечно, до практической стороны и не доходит, то придет идея бежать из Москвы в Питер и начать новую жизнь: «Найдем квартиру и будем работать.... А тетьа Лиза (жена Устинова) кормить будет»... И. Грузинов склонен и смерть поэта связывать с настойчивой фантазией. Он указывает и подробно останавливается на влиянии на Есенина Иоганна-Петра Гебеля. Стихи последнего года.

Я играл на пиковую даму
Я сыграл в бубнового туза

об'яснимы из гебелевского «Красного Карбункула».

— Туз бубновый, не так ли? Плохо; ведь красный карбункул, значит он... доля недобрая.

Несчастный Вальтер у Гебеля накладывает на себя руки. Эта тема «недоброй доли» решает и судьбу Есенина.

«Предсмертное стихотворение Есенина: «До свиданья, мой друг, до свиданья» — звучит по гебелевски. Умирая, Есенин вернулся к Гебелю: «встреча впереди», встреча в загробной жизни, встреча в ином мире: это мотив Гебеля и романтиков».

Последние дни поэта несколькими друзьями рассказаны весьма подробно. Никаких предзнаменований рокового шага не было. В этот последний вечер Есенин изумительно выдержал себя, может быть, с не свойственной для него стойкостью. Он был в кругу друзей и В. Эрлиху положил в карман бумажечку со стихами, чтобы он прочел ее наедине. Портье, давая показания, сообщил, что около десяти часов Есенин спустился к нему с просьбой — никого к нему в номер не пускать. Стихи были прочтены только на другой день: это была любимая песня Есенина:

Что то солнышко не светит,
Над головушкой туман,
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.

Ах, доля — неволя,
Глухая тюрьма,
Долина, осина,
Могила темна.

Это Л. Троцкий называет: «уйти из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь.»

«Кого любил Есенин? Он женился рано, пережил какую - то глубокую трагедию», с женой не жил, но встречался и, судя по данным воспоминаний, своеобразно любил ее. О немногих женщинах Есенин

«отзывался хорошо», у него были увлечения, но... не пушкинские. Что касается Дункан, то вот афоризм о ней:

— Ничего ты не понимаешь. У нее было больше тысячи мужей, а я — последний. —

Все говорят о любви поэта к родине, о высоком национальном чувстве, чуждом национализма, хотя есть примеры и срывов в этом отношении, впрочем, в нетрезвом состоянии.

В «России Советской» Есенин с горечью говорил, что его поэзия «здесь больше не нужна». Ответила ему на это Россия. Да, видно, давно мы не хоронили поэтов с таким скорбным вдохновением. Вот — стихи. И каждое разными словами, разными чувствами говорят о великой утрате. Никому и в голову не приходят чрезмерные сравнения. Да их и нет вовсе. Есенин не Пушкин, не Гете.

«Прощай, Сережа, — песня, сгоревшая на ветру.»

«Среди многих стальных соловьев нашей поэзии Сергей Есенин был единственным живым соловьем»...

«Да...в этом мире странность не одна,
Теряем ценное... плохое держим в силе:
Все так же много в кабаке вина
Но нет поэта...
Лучшего в России.»

Евг. Недзельский.

О любви к России.

(Reminiscences of a Student's Life. Tane Ellen Harrison. Published by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press. 91 p. London 1925.)

Может ли иностранец любить Россию? И не то важно, что любить Россию — важно за что любить. Ведь я знаю иностранцев, которые жили в России много лет, хорошо «устранивались», а теперь только о том и говорят, как «легко» было жить в России: прислуга за гроши. А все настоящее русское прошло мимо: за дешевой не заметили. Да и русских я знаю здесь, за границей — все теперь вспоминают: какие расстегаи были, какая ботвинья! — а ведь они тоже Россию любят. Но разве *такое*, разве *это* — любовь?

Любят иностранцы русскую архитектуру — и, конечно, это *важнее*, чем дешевая прислуга; но какую архитектуру? — а то, что построили Монтеферран, Фиоравенти, Пиетро Антонио (значит, настоящую русскую архитектуру — Суздаль, Владимир, северные погосты, избы — не любят).

Любят иностранцы русскую литературу; кого же любят? Достоевского? — да, пожалуй, Достоевского, но он пугает (а какая же это любовь, если страшно?). Толстого? — да, Толстого, но он смущает. Но кого *особенно*? — особенно Чехова (уж теперь «английский Чехов» есть: — Екатерина Мансфильд), Андреева, а теперь по французски Краснова издали (и в Норвегии я видел тоже перевод). А Лескова, Розанова? — слышали, но не читали. А «Слово о Полку Игореве»? Летописи? Аввакума? — не слышали. (Аввакума «Житие» я сам только недавно в первый раз прочитал, а сколько таких русских, которые никогда не прочтут?).

А ведь Аввакума на английский язык перевели! — Мисс Гаррисон и Мисс Мирлис. Если *так* любят, что Аввакума пере-

водят, значит любят по настоящему, любят что то такое, что надо любить в России и в русском. И если мисс Гаррисон *так* любит — значит, все таки, может иностранец (один из миллиона!) любить Россию.

В своем недавнем жизнеописании («ей самой написанном») Мисс Гаррисон пишет о своей любви к России. Надо ее слова запомнить. После поездки в Россию, ограничившейся несколькими днями в Петербурге, она пишет:

”Я могла бы совершить паломничество к Толстому; я могла бы даже увидеть Достоевского. Вся жизнь моим постоянным грехом было то, что я могла видеть одновременно только одну вещь. Я была ослеплена чрезмерной сосредоточенностью. Я горько, навсегда наказана. Теперь я никогда не увижу Москву и Киев — города моих снов.

” Буквально: моих снов. Только два раза в моей жизни мне снился значительный сон. Это был один из них. В одну ночь, скоро после русской революции, мне снилось, что я в большом, древнем лесу — что по русски зовется ” дремучий лес “. В лесу была расчищена круглая поляна, и поляна была полна огромными, мягко-танцующими медведями. Я знала, что пришла для того, чтоб научить их танцевать ” Большую Цепь “ (одна из фигур устарелого танца *Lancers*). Мне вовсе не было страшно, я была очень рада и горда. Я подошла и начала их учить братья за руки и образовывать круг. Все это было напрасно. Я старалась и старалась, по они увертывались, вежливо махая лапами, упорно продолжая свои таинственные действия. Внезапно я познала, что эти действия гораздо чудеснее и прекраснее любого ” Большого Круга “ (оно, конечно, и должно было так быть!). Не мне было их учить — а у них учиться. Я проснулась, рыдая, в экстазе смирения.

” Пусть в этом сне будет то, что Россия значит для меня. И да не будет недоразумений. Не ” славянская душа “ тянула меня. Нет — даже не русская литература. Конечно, много лет перед тем, я читала Тургенева и Толстого и Достоевского, и восхищалась ими, но Толстой и Достоевский скорее пугали, а не прельщали меня. Я полу-противилась их испытующей острой резкости и некоторые места, как конец ” Идиота “ или сцена между Дмитрием Карамазовым и Грушенькой в своей резкости, казалось мне, переходили границы дозволенного в искусстве. Они ранили слишком больно, слишком глубоко. Нет — не эти значительные вещи околдовали меня. Меня околдовал Русский язык. Если-бы я могла снова прожить свою жизнь, я посвятила бы ее не искусству или литературе, а языку. Жизнь может жестоко бить человека, но можно всегда искать святилища в языке. Язык в той-же мере искусство и столь-же верное убежище,

” как живопись или литература. Язык отражает, и толкует и де-
” лает жизнь переносимой; но в языке жизнь шире, потому что в
” нем она более подсознательна “.

Мисс Гаррисон любит Россию за русский язык — она полюбила нас черненькими (а беленькими и всякий полюбит!) — а ведь это не расстеган или дешевая прислуга. За это — благодарность.

Владимир Диксон.

Переводная литература в России.

За последнее время количество переводных романов в России почти достигло довоенных размеров. В голодные годы 1919 - 21, когда вообще была мала издательская деятельность, иностранная литература почти не появлялась, но теперь точно стремятся наверстать упущенное, выбрасывая на рынок сотни переводов со всех европейских языков. Конечно, преобладает беллетристика — и по политическим мотивам, как возбуждающая наименьшие подозрения у власть имущих, и по причинам чисто художественным. У нас в России очень мало распространен тот тип средней литературы, поставляющей пищу образованному или полуобразованному читателю, какой процветает в других странах, особенно во Франции и в Англии. У нас не хватает отечественных книг для занимательного чтения, и переводная беллетристика всегда была призвана восполнять этот пробел. Играет ли теперь ту же роль, что и до революции, повышенный интерес к Западу, заставивший русских издателей чутко следить за всеми новинками иностранной литературы, сказать трудно, ибо подбор переводных произведений, издающихся за последние два года в России, несколько особого рода.

Конечно, среди переводной беллетристики встречается ряд имен лучших представителей современной иностранной литературы, при чем иной раз оказывается, что о них лучше осведомлены в Москве, нежели в тех кругах эмиграции, которым, казалось, по своему географическому положению следовало бы знакомиться с культурой Запада. Скажу, например, что **Джозеф Конрад** почти целиком переведен на русский язык, в то время как в зарубежной русской прессе о нем заговорили лишь после его смерти. Госиздат выпустил романы одного из наиболее крупных американских писателей, **Синклера Льюиса**, английского писателя **Соммерсет Мохена** и др., о которых ничего неизвестно широким кругам эмигрантских читателей. Кроме того, переве-

лены **Жюль Ромэн**, **Дюамель**, **Амп**, **Гэлсуорси**, **Лоуренс**, **Джойс** и др. крупные писатели.

Но огромное большинство переводных произведений — романы второстепенных авторов, обладающих притягательной фабулой, могущие стать материалом легкого увлекательного чтения. Конечно, переведен весь **Бенуа**, при чем не оставлена без внимания даже и такая слабая вещь писателя, как «**Альберта**», появившаяся в Госиздатовской серии «Новости иностранной литературы», издаваемой очень изящно маленькими книжками в картонных переплетах. Не отстают от Госиздата и рабочие издательства — и «Недра», и «Прибой» наперерыв кормят своих читателей романами приключений, причем не брезгают и подделками под **Конан Дойля**, как напр., недавно вышедший роман **Гудвина «Расплата»**, в котором рассказывается о чудесных наследствах, банде разбойников, лорде-мошеннике и тысячах невероятных происшествий и увлекательных трюков.

Издательство **Брекгауз-Эфрон** начало даже целую серию романов приключений и путешествий и издало недавно воспоминания германского капитана **Лукнера «Зов моря»**, в котором всячески восхваляются подвиги Германии во время войны и рассказываются занимательные эпизоды прорыва блокады вспомогательным крейсером «**Черный Орел**» под командой **Лукнера**. Книга читается с большим интересом в части, касающейся мировой войны.

Несколько в стороне от вульгарного романа приключений стоит перевод нашумевшего романа **Доротей Миллс «Черные боги»**. Хотя в предисловии роман предлагается, как «поучительная иллюстрация современного капиталистического общества и его колониальной политики», но сделано это, очевидно, с целью достижения «защитной окраски». Ни о капитализме, ни о колониальной политике ничего не найдет коммунистический читатель в интересном и по своему глубококом романе **Миллс**. В нем говорится о совершенно противоположном: о влиянии Африки с ее расслабляющим климатом, с ее первобытным духом колдовства, дикости и изуверства на слабую европейскую женщину, падающую жертвой «черных богов». Очень ярко и убедительно показано превращение молоденькой англичанки **Анны**, заброшенной вглубь Западной Африки, в «черную женщину», легко превращающуюся в послушное орудие негритянского шамана и в конце концов погибающую и духовно и физически. Прекрасно дан фон повествования — жизнь негритянского племени, его обычаи и быт, его ненависть к белым, восстание, оканчивающееся неудачей, а также фигуры белых, из которых автору наиболее удался бывший виконт **Шанель**, ставший «братом» неграм и ведущий совершенно туземную жизнь, отказавшийся от цивилизации и страшющийся ее. «Черные боги» в изображении **Миллс** — это первобытные начала дикости и звериности, живущие в каждом человеке: они при определенном стечении обстоятельств могут каждого слабого европейца превратить в существо, стоящее почти

на той же ступени умственного и морального уровня, что и африканские негры.

Роман Миллс в истории духовного обезличения Анны несколько напоминает одну из первых вещей Конрада «Безумие Альмейер, в трагических тонах передающее медленное опустошение и падение белого человека на одном из экваториальных островов.

Говоря о переводных новинках, следует упомянуть еще об утопии Экардта «Последняя власть». Это скучная и тенденциозная вещь, тягуче повествующая, как одному ученому немцу удалось добыть искусственное золото, а затем при помощи своего богатства и технических знаний создать на острове идеальный город с необыкновенными техническими усовершенствованиями. В руках немца возможность уничтожения всех силовых станций и всех армий и флота мира. Он вызывает мировую войну, уничтожает всех своих врагов, при чем особенно жестоко расправляется с ненавистной ему Японией. Война влечет за собою всемирную революцию, в результате которой все народы мира подчиняются всемогущему острову и начинают счастливую эру человечества. Непонятно, что коммунистического усмотрели издатели в этой скверно написанной картине преобразования мира через войну и поражение всех государств в борьбе со страшным и технически мощным врагом. Конечно, большевиков прельстил в утопии образ мировой катастрофы и слова о революции, но читателю до конца остается непонятным, во имя чего ученый немец добивается власти над миром да еще такой жестокой ценой. Впрочем, за неимением хорошей коммунистической литературы приходится пользоваться и суррогатами, а немцы на этот счет всегда были большими мастерами.

Б. Ар.

Отзывы о книгах.

НОВЫЙ ДОМ. Литературный журнал под редакцией Н. Берберовой, Д. Кнута, Ю. Терапиано и В. Фохта. № 1. Париж. 1926.

Вышел № 1 «Нового Дома», — первая, заглавная, страница которого принадлежит писателям младшего поколения, а почти все остальные — писатели старшего поколения*). Ни та и ни другие особенного внимания не обращают — и в целом журнал никакого литературного значения не имеет и отмеченным быть не заслуживал бы. Если бы... Если бы с последней страницы — с библиографии (пробный камень всякого литературного журнала и истинное лицо его: писать не умеете, но быть может читать научились?) «Новый Дом» неожиданно не сорвал бы весь свой благочинный тон.

Стыдно напоминать людям, — собирающимся «делать пусть малое, но достойное дело», людям, сокрушающимся о распухлости нравов в Сов России, — что все-таки существует простая литературная этика. Порядочность, честность и такт — вот главное, что нужно приобрести каждому, кто хочет не только писать, но и печатать свои суждения о литературе и писателях.

Последние годы русской ли-

тературы необычайно богаты по количеству литературных преступлений. После того, когда литературе суждено было расколоться на-двое — каждая из сторон пустилась разоблачать и осквернять другую! Заботливо извлекали, взяв своим благородным щитом политику, факты и фактики друг о друге — и иногда в своих разоблачениях выходили далеко за пределы — и литературы и литературности.

В результате этой неслыханной в литературе бойни победителей не оказалось: обе стороны проиграли. Prestиж и значение современного писателя в читательской массе надолго принижены.

«Новый Дом», такой маленький по своему значению, сумел совершить огромное преступление (Не все же преступники — великие люди). И не одно, а несколько:

Алексей Ремизов в «Николае Чудотворце», пользуясь прием параллелизма — той эпохи злодеяний и нашей, — употребляет новые слова: «продIALOG», «взять на учет», «реквизировать» и т. д. «Новый Дом» называет это «приспосабливанием для обращения в СССР». Преднамеренная лживость или абсолютная неспособность к чтению. Наличие этих качеств не

позволяет прикасаться к литературе.

Больше. Вслед за этим «Новый Дом» печатает фразу, по цинизму и кощунству редкую даже на задворках печати. Имена Розанова и Ремизова много говорят каждому. А вот что о них говорит «Новый Дом»: «... Ремизов с некрофильским влечением к Розанову, с которым он, вонстину, как с мертвым телом делает, что хочет».

Дальше: Я не подберу имени для обозначения того, что сделал «Новый Дом» с разборкой одной из прекраснейших поэм, ставшей самым большим литературным событием после «Двенадцати» — «Поэмой Горы» Марины Цветаевой. Как низко должен пасть человек, чтобы решиться на выхватывание отдельных строк, а то и слов, из чистых лирических мест поэмы — и на составление из них достаточно циничных и порнографичных сцен. Это уже не отсутствие такта, корректности, порядочности — это уже большее:

Поэма Марины Цветаевой:

О когда б, здраво и по
просту:
Просто — холм, просто —
бугор...
Говорят, тягую к пропасти
Измеряют уровень гор.
В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих
хвой...

(Высота бреда — над уровнем

Жизни).

— На же меня! Твой...

Поэма «Нового Дома»:

«О когда б, здраво и по
просту», восклицает она: —
В ворохах вереска бурого
... на же меня! Твой.

Впрочем перечислить все средства, к которым не стесняется прибегать критик «Нового Дома» для оправдания «своей лжи — не стоит. Повидимому, это просто человек с определенным болезненным уклоном, с ненормальным воображением (напр., его страсть к коллекционированию всех случаев хулиганства в СССР; точно не мог ограничиться двумя словами), с устремлением всюду находить «пикантное».

Неужели не ясно, что специфически ругающийся Артем Веселый» в тысячу раз невиннее и целомудреннее господ, со старческим хихиканием называющих литературный журнал, в котором печатаются некоторые из наших лучших писателей: Ремизов, Шестов, Цветаева, публичным домом, — или господ пишущих в том «целомудренном» «Новом Доме» такие милые стишки:

На Монмартрѣ, в сумерки, в
отеле

С первой встречной наедине,
Наспех молчаливо...

Нужны ли еще какие нибудь
добавления?

Бронислав Сосинский.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ.**

„ ПЕРЕЗВОНЫ “

Редакция и контора:
Riga (Lettonie) — Le Kadeju
iela, 43. Тел. 20—76, 34—48 и
83—40.

Цена отд. номера в 32 стран:
В Латвии — 80 сент (40 р.)
В Чехословакии — 8 1/2 к. ч.
В Германии — 80 пфен.
Заграницей — 20 ам. цент.

„ P E R E Z V O N Y “

Генеральные пред-ва:
В Чехословакии: Изд. «ПЛА-
МЯ». (Praha 11., Jesna, 32).
В Польше: Изд. «ДОБРО»
(Warszawa, Hoza, 45—8).
В Болгарии: книжн. торговля
Н. Алексеева (София, Б. Тър-
ново, 17).
В Вене: А. В. Мухин (Wien Pe-
tersplatz, 9),

Сотрудники: М. А. Алданов, К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, Ю. Галич,
О. Далматова, А. Даманская, Дон-Аминадо, Бор. Зайцев (ред. литерат.
отдела), А. И. Куприн, Вл. Лодыженский, И. Лукаш, С. Минцлов, проф.
Н. И. Мишеев, Мих. Осоргин, А. М. Ремизов, Н. А. Тэффи, А. Черный,
Евг. Ник. Чириков, Марина Цветаева, И. Шмелев, Сем. Юшкевич.
Художники: акад. Н. П. Богданов-Бельский, акад. С. А. Виногра-
дов, Ю. Г. Рыковский и др. О б л о ж к а — работы М. Добужинского.

Постоянные отделы: Детский уголок. По белу свету. Искусство.
Из области науки, открытий и изобретений. Русская книга.

В каждом номере репродукции картин известных русских и иностранных
художников. — Из них 2 в красках.

Вышла в свет 29-ая книга журнала

6-й год
издания

„СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ“

6-й год
издания

выходящего при ближайшем участии
Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка и В. В. Руднева

Содержание: 1. И. А. Бунин: «Воды Многия». 2. Б. К. Зайцев:
«Странное путешествие» (Рассказ). 3. Д. С. Мережковский: «Мессия».
4. М. А. Алданов: «Заговор». 5. М. Щербаков: «Корень жизни». 6.
Г. Евангулов «Смерть Джона Хоппуса». 7. И. Тхоржевский. «Робайя»
Омар Хайяма. 8. Д. Кнут: Тишина (Стихи). 9. С. М. Волконский: «Ва-
сильевский Остров». 10. В. А. Маклаков: «Русская культура и А. С.
Пушкин. 11. И. П. Муратов: «Искусство прозы». 12. Г. Д. Гурвич: «Эти-
ка и Религия». 13. В. В. Зеньковский: О книге Ильина «О сопротивлении
злу насилем». 14. С. И. Гессен: «Проблемы правового социализма. 15.
Ю. Н. Данилов: «Вопросы разоружения в Лиге Наций». 16. М. В. Виш-
няк: «Кризис Власти». 17. Н. С. Тимашев: «Право национальностей в
Советской России». «Культура и Жизнь». 18. В. Ф. Ходасевич: О «Вер-
стах». 19. Ф. А. Степун: Об общественно - политических путях «Пути».
20. М. Бейлинзон: «Идеология нового еврейства» (Мартин Бубер). 21.
П. М. Бицили: «Завет Пушкина». 22. Критика и библиография. Статьи
и заметки П. Сергееча, М. А. Алданова, А. А. Кизеветтера, П. Бицили,
П. Прокофьева и других.

ЦЕНА книги 25 франков; за пределами Франции 1 доллар.

Адрес: Administration de la Revue «Annales Contemporaines» 106, Rue
de la Tour. Paris XVI

„РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ“

ЦЕНТРАЛЬН. ОРГАН ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
вышел и поступил в продажу № 51—52

СО Д Е Р Ж А Н И Е :

- Кризис В. К. П. В. Гуревич.
Правительство, которое нельзя себе представить. Гр. Шрейдер.
О «прекрасном человеке». Виктор Чернов.
Вопросы программы и тактики. Пан'европа и пан'славянство Виктор Чернов.
Фельетон.
Рэмон Пуанкаре и Аристид Бриан. Н. С. Русанов.
По России.
Новая фаза кризиса диктатуры (письмо из Москвы). Ненарком. Госзаготовки и госснабжение. С.В.
- Деревня.
Деревенские мотивы: С. Верещак.
Рабочая жизнь.
Безработица в СССР. В. Архангельский.
Заграницей.
О судьбах крестьянства в Турции Минахорян.
Государство и рабочее движение. Евгений Шрейдер.
Проект программы социалистической партии Литвы.
В социалистическ. Интернационале. Заседание Исполнительного Комитета. Е. Сталинский.

Цена номера 6 крон чешских

Адрес редакции и конторы журнала: S. Postnikoff
Uhelny trh c 1. Prague.

БОЛЬШАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА

V г. изд.

„ДНИ“

V г. изд.

Выходит ежедневно, кроме послепраздничных дней в Париже.

Специальные
срочные сообщения
из России.

Полная информация
о политической
жизни заграницей.

Рабочее
социалистическое
движение в Европе.

Собственные корреспонденты в крупнейших центрах Европы, Америки и странах ближнего и дальнего Востока.

Хозяйственная жизнь России. — Искусство, театр и музыка в Европе и России.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ: Большой культурно-литературный отдел.
ПО СРЕДАМ и СУББОТАМ: Особый отдел: «РУССКИЙ ТРУД ЗАГРАНИЦЕЙ», посвященный защите экономических и культурных интересов русских трудящихся заграницей.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1926 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Париж — 11, rue Etienne Marcel prolongée, Paris 3. (chèque postal N° 80,446.
Прага — Panská ul. 16 (почт. счет 26,998; банк: Prazska Uverni banka, Banka stav. zivn. a prumyslu). Берлин — Berlin SW. 68, Lindenstr. 3 (Postcheck-Konto, Berlin 52,698; банк: Disconto-Gesellschaft, Dep. Kasse, Lindenstr. 3). Белград — Filialka Prazké Uverny banky. София — Filialka Prazké Uverny banky.

Объявления принимаются в Гл. Конторе и ее отделениях, и у генерального представителя О—ва "Le Flambeau", 34, Boulevard des Italiens, Paris.

Volja Rossii, revue mensuelle russe, Uhelny trh I Prague.